

A decorative border with symmetrical floral and scrollwork patterns in a dark brown color, framing the central text.

Фронтовые записки

**Владимир Нилович
Каменев**

SHOUT
SHARE **IT**



Annotation

Поразительные по искренности, глубине и таланту фронтовые записки Владимира Каменева, принадлежавшего к знаменитому роду старицких дворян Корниловых, публикуются впервые. Это один из ярчайших документов, сохранивших правду великой и горькой войны.

Книга выходит к 65-летию Победы и посвящается памяти павших на фронте защитников нашего Отечества.

- ОТ АВТОРА
- ПРЕДИСЛОВИЕ
- ФРОНТОВОЙ ДНЕВНИК
- По железной дороге
- От Горовостицы до Залучья
- В Залучье и Жегалове
- Путь на Большие Жабны
- На передовую
- Под деревней Хмели
- День в лесу
- Вечер и ночь
- Бой за Избытово
- На Извоз с третим батальоном
- В деревне Малое Старо
- Бой за Извоз
- В путь с первым батальоном
- В деревне Речицы
- Бой под деревней Хохели
- Под деревней Большое Князево
- Последние дни на фронте
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- notes
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6

ОТ АВТОРА

*Кто знает, может быть, этот
рассказ будет нужен людям, а не
только мне одному...*

На этих страницах описаны события четырёх месяцев — с декабря 1941 по апрель 1942 года, т.е. начало наступления Красной Армии.

Развёртываются события на небольшом участке Северо-Западного фронта: в Калининской области — в районе озера Селигер и в Новгородской области — западнее города Демянска. Полагаю, что написанное типично и для других участков фронта.

Отдельные подробные записи мне удавалось сделать во время передвижения к фронту, на коротких привалах, и они приведены мною без поправок.

Потом очень краткий дневник я вёл почти ежедневно, в перерывах между боями. Эти сжатые записи помогли мне теперь расширить их и восстановить пережитое.

Написанное ни на что не претендует, кроме совершенной правдивости повествования. Все имена и фамилии сохранены подлинными, равно и названия населённых пунктов, где происходили бои.

ПРЕДИСЛОВИЕ

С начала декабря 1941 года я был вызван в морской отдел Московского горвоенкомата, где состоял на учёте младшим лейтенантом запаса.

Замечу кратко, что после четырёхлетней военной службы во Владивостоке меня демобилизовали командиром взвода запаса и представили к аттестации лейтенантом. Аттестационный лист путешествовал по Наркомату обороны 1937-й и 1938-й годы, а в 1939 году стало известно, что он затерялся. Тогда я был направлен на переаттестацию в Севастополь. Курсы усовершенствования командного состава запаса при штабе Черноморского флота аттестовали меня старшим лейтенантом.

Это было в разгар войны с Финляндией. Стояла лютая зима, но в Севастополе светило яркое солнце, и под ногами таял мокрый снег.

Меня направили опять на Тихоокеанский флот: там служил я в сороковом году в звании старшего лейтенанта — помощником командира тяжёлой морской береговой батареи на железнодорожной установке.

С побережья Северной Кореи, из далекой бухты Посыета смотрел я в артиллерийский бинокль на горящее бирюзой Японское море.

Кончился 1940-й год — и я снова в Москве, на гражданской службе.

С начала войны райвоенкомат привлёк меня к руководству “Всеобучем”^[1]. А когда наступил памятный для Москвы день 16 октября 1941 года, и в военкоматах личные дела в панике сжигались, я “помолодел”: согласно уцелевшим документам, из старшего превратился в младшего лейтенанта.

Таково краткое отступление, касающееся печальной и обидной истории присвоения мне офицерского звания.

Вместе со мною был призван на военную службу, также из запаса, лейтенант Георгий Певзнер, инженер, автор распространённого учебного пособия “Электрическое оборудование подвижного состава Московского метрополитена”. Этой книгой долгие годы пользовались работники тягового хозяйства метрополитена, по ней учились курсанты, овладевавшие профессией помощника и машиниста подземных электропоездов.

Утром одиннадцатого декабря Певзнер и я одновременно были приняты в горвоенкомате батальонным комиссаром Моцкиным, человеком без военной выправки, болезненного вида.

Одет он был в чёрное морское хорошо подогнанное обмундирование. Осталось в памяти узкое, худое лицо Моцкина, маленькие неприятные глазки и множество вставных зубов. Вместе с Моцкиным принимал нас капитан — мой сослуживец по 12-й артиллерийской железнодорожной бригаде ТОФ^[2] во Владивостоке. Случайная неожиданная встреча пробудила в памяти далёкие, залитые дальневосточным солнцем молодые годы.

Мы стояли и молча слушали патристические реляции батальонного комиссара, расхаживавшего по кабинету и жестикулировавшего перед нами. Заканчивая выступление, он предложил нам подписать заявление о добровольном поступлении в артиллерийскую противотанковую часть.

— Моряки фронту не нужны, на море сейчас делать нечего, — убеждал он.

Был серый декабрьский полдень, когда двадцать второй номер трамвая, долго крутясь по Москве от Краснопресненской заставы до Каланчёвской площади, доставил нас домой из горвоенкомата, но уже без паспортов и без военных билетов: вместо них нам дали запечатанные конверты для вручения в Хамовнических казармах командиру Московского особого отряда моряков — МООМ, куда мы были направлены.

С небольшими чемоданчиками в руках шли мы по морозной, завьюженной Метростроевской улице. Мимо пробегали грохочущие трамваи, на которые и садиться не хотелось, как помотришь на мохнатые от снега, схваченные морозом окна. Так дошли мы до большой площади. По правой стороне её тянулись высокий глухой забор и здания однообразно вымощена булыжником. Противоположная половина её, где стояли коновязи перед длинными зданиями конюшен, была

в хорошо утрамбованной земле, в этот день мёрзлой и местами покрытой снегом.

Здания казарм с расположенными напротив конюшнями и манежем составляли продуманный и красивый архитектурный ансамбль.

Трамвайная линия по Метростроевской улице доходила только до площади, а затем, обогнув старинную белую церковь “Споручница грешных”, уходила вправо.

В штабе МООМ, узнав, что мы средний командный состав — артиллеристы, не стали вскрывать наши конверты, сразу направив нас в штаб отдельного артдивизиона, входившего в отряд и помещавшегося здесь же, в казармах.

Начальник штаба дивизиона, белокурый лейтенант Колбасов, очень молодой, с приветливым чистым лицом и серыми

задумчивыми глазами, вскрыл при нас конверты, в которых, кроме направлений, оказались сданные нами документы, и, прежде всего, послал нас обмундироваться.

“Он лицом и характером, должно быть, похож на молодого диакона из чеховской “Дуэли””, — подумал я, глядя на улыбку, не сходящую с лица молодого начальника штаба.

Что же необычного было в процедуре обмундирования? Вместо хромовых ботинок мы получили кирзовые сапоги и валенки, вместо фуражки — чёрную меховую ушанку. Дополнительно были выданы тёплое бельё, меховой жилет и рукавицы на меху. Всё было хорошего качества, что действовало ободряюще при мысли о том, что уже шестой месяц войны на исходе. Из знаков отличия была выдана только морская эмблема на шапку, так называемый “краб”, или “капуста”, и красная звёздочка к ней. Нарукавные нашивки — одна средняя золотая полоса — выданы не были.

— Все ходят тут без нашивок, — сказал старшина баталерщик, — на фронте тем более они не нужны.

Постельное бельё выдано не было — обещано, что будет на месте. В обратный путь из баталерки мы тронулись с нагруженными вещевыми мешками.

Путь в баталерку нам показывал какой-то младший политрук. Он же привёл обратно, оставив нас на сцене очень большой залы с красивой висячей люстрой посередине.

На дворе уже стемнело, но люстра горела, и света было много. Чёрные конуса громкоговорителей, подвешенные в зале высоко на стенах, транслировали какую-то радиопередачу. Отдельный тихо разговаривающий усилитель стоял на тумбочке в комнате младшего политрука. Вся зала была заставлена койками, составленными в три яруса, и кишела народом — шумными краснофлотцами какого-то подразделения. Койки были застланы, покрыты байковыми одеялами, на многих валялись подсумки с патронами, личные вещи бойцов. Винтовки стояли внизу, в пирамидах. Отдельные немногие койки были заняты спящими на них в обмундировании краснофлотцами. Гам от множества людских голосов стоял в зале порядочный. Добрую половину сцены также занимали трёхъярусные койки, в отдельных местах сцены стояли двухъярусные.

— ...Воздушная тревога... Воздушная тревога... — раздался по радио знакомый голос диктора.

Радиопередача прекратилась. Однако, видимо, никто не обратил внимания на сообщение о воздушной тревоге. К ним уже привыкли. Мы закончили приводить себя в порядок, младший политрук услужливо достал нам зеркало их чемоданчика под

койкой.

Неожиданно сильный взрыв потряс здание. Свет погас, раздался звон разбитого стекла, грохот падения чего-то тяжёлого. Однако наступившая в следующее мгновение относительная тишина подействовала успокаивающе: взрыв произошел не здесь, а где-то недалеко, может быть, рядом. Ни криков, ни стонов слышно не было, голоса в зале, очень сдержанные, возобновились.

Первой, самой серьёзной неприятностью была непроглядная тьма, наступившая неожиданно и после яркой освещённости. Зачиркали спичками. Мы как вросли в свои места на сцене и старались хоть не потерять друг друга. В сплошь выбитые оконные рамы и стёкла быстро проникал со двора морозный декабрьский воздух. Первое предположение моё, что упала и разбилась люстра, оказалось ошибочным: огоньки в разных концах залы осветили её, продолжавшую висеть на прежнем месте, в то время как многие койки сместились и упали, сильно пострадали окна. Позже из разговоров выяснилось, что крупная фугаска была сброшена немецким самолётом, одиноко прорвавшимся в Москву и спикировавшим на казармы. Фугаска попала в помещение медсанбата, повредила также здание, где размещался мотоциклетный батальон. Число убитых и раненых никто толком не знал, говорили, что человек двадцать пять пострадало.

Ну, а нам что делать дальше? Куда идти? Своевременен ли появляться с докладами? Младшему политруку, надо полагать, надоело с нами возиться. Он уже рассказал нам распорядок дня в дивизионе, из которого самым важным, конечно, было время завтрака, обеда и ужина. Когда мы шли с ним по коридорам, он показал нам кабинеты командира отряда полковника Смирнова и комиссара отряда бригадного комиссара Владимирова. Пришлось всё же попросить его приютить на какое-то время наши вещевые мешки и чемоданчики, сами же мы отправились в путешествие, необычное потому, что проходило во мраке. Тьма улицы, проглядывавшая через разбитые окна, являлась время от времени единственным спасительным светом, дававшим возможность как-то ориентироваться. Вскоре в немногих местах зажглись светильники в виде самодельных фитилей, положенных на

блюдечко или тарелку с расположенным в них жиром. По всему зданию раздались удары молотков: это хозяйственная команда забивала оконные проёмы досками и рубероидом или фанерой. Тьма в помещениях от этого сильно сгущалась.

В бесполезных движениях по коридорам прошёл весь вечер. Неоднократное заглядывание в кабинеты командования ни к чему

не приводило. Ни командир, ни комиссар не появлялись. Только одно время в кабинетах работали, заdraивая окна, красноармейцы.

Пужинали. В столовой освещение было скудное: две керосиновые лампы и несколько блюдец с чадящими фитилями. Однако после сплошного мрака, которого мы прямо-таки наглотались, попасть в освещённую столовую показалось приятным. Ужин был скудным.

В десятом часу вечера мы были снова у двери заветного кабинета. В казармах стало очень холодно. Мы всё время были одеты и даже ужинали, как и большинство, в шинелях, снимая только шапки и рукавицы. Привычно уже я стукнул в дверь и тут же отворил её, заранее предполагая, что в кабинете никого нет. Заглянув туда, увидел за столом сидящего полковника и со словами “разрешите войти” шагнул в кабинет, но тут же остановился: в глубине длинной комнаты, на фоне большого, по-видимому, забитого, утеплённого и зашторенного окна, за просторным письменным столом сидел полковник — командир отряда. На одном из двух приставленных к столу мягких кресел, на его ручке, сидел очень высокий мужчина, по-видимому, комиссар. На столе стояло несколько бутылок с вином или водкой, стояла закуска, стаканы: всё освещалось большой керосиновой лампой. При моём входе комиссар оглянулся в полоборота.

— Разрешите войти? — громче прежнего повторил я, не разобрав, что сказал мне обернувшийся комиссар.

— Иди к... матери, — звучным голосом и с сильным выражением почти крикнул комиссар, а когда я, невольно остоленев, продолжал стоять, полковник, вдруг быстро поднявшись из-за стола, схватил с него бутылку и замахнулся ею на меня. Это отрезвило, я нырнул в дверь и прикрыл её за собою. Бутылка за дверью со звоном разбилась.

— Что там такое? — спросил Певзнер.

— Черт знает что, пошли скорее отсюда, — ответил я, увлекая его за собою и рассказывая надолго запомнившуюся картину. Разыскав, по описанию младшего политрука, кубрик командного состава, мы улеглись на свободных койках с одеялами и тюфяками. Спали до утра, покрывшись шинелями, не раздеваясь.

Так закончился первый день нашей военной службы.

Отдельный артдивизион состоял из трёх батарей и взвода управления дивизионом. Командиром дивизиона был высокий и громогласный капитан Фокин, комиссаром дивизиона оказался Моцкин.

Батарейми 76-миллиметровых орудий командовали лейтенанты: Соколов — первой батареей, Шароваров — второй батареей и Калугин — третьей. Командиром взвода управления артдивизиона был старший лейтенант Лапшѐв.

К командиру МООМ “представиться” мы больше не ходили. Вместо этого были на приѐме у капитана Фокина, причѐм в кабинет к нему ввалилось сразу человек восемь командиров, призванных из запаса. После поверхностного знакомства с каждым Фокин определял нашу дальнейшую судьбу.

— Фамилия?

— Лейтенант Юшин.

— Кем работали на гражданке? — спрашивал капитан, просматривая лежавшие перед ним документы.

— Преподаватель я, учитель русского языка...

— В третью батарею, командиром огневого взвода, — обрывал Фокин, — идите!

— Фамилия?

— Лейтенант Мальцев.

— В первую батарею, командиром взвода управления батареей, — первым помкомбатом будете.

— Но, видите ли, я работал всё время в торговой сети...

— Это сейчас не имеет значения. Следующий!

— Лейтенант Бобков, начальник отдела сбыта Наркомата...

— Так, так... назначаю начальником боепитания дивизиона.

— Есть!

Дошла очередь и до имени с Певзнером.

— Оба артиллеристы, — мельком взглянув на нас, сказал Фокин, — как раз две вакантные должности для вас остались. Выбирайте сами: кто из вас будет командиром огневого взвода и кто — командиром взвода управления батареей.

Мы переглянулись. Командир огневого взвода — это пушки или матчасть, как принято называть их у артиллеристов, это — орудийные расчеты, т.е. артиллерийская прислуга.

Находиться придётся, как правило, в нескольких километрах от передовой линии фронта при стрельбе по невидимым целям, раздельной наводкой. Резиденция командира взвода управления — это передовые наблюдательные пункты на передовой линии, что интереснее, но куда как опаснее, чем пребывание на удалѐнных артиллерийских позициях. Кроме того, ответственность за связь, за хозяйство телефонии и за радиостанции, за приборы артиллерийского наблюдения и разведки. В подчинении — телефонисты, радисты, разведчики-наблюдатели и корректировщики, связные. Хозвзвод или хозотделение, во главе со старшиной батареи, также подчинѐн

командиру взвода управления как первому помощнику командира батареи. В голове пронеслись мысли, что если я хорошо знаком с материальной частью артиллерии, то вот уж в радиотехнике и телефонии совершенно не сведущ.

— Я хотел бы быть командиром огневого взвода, — уверенно сказал между тем Певзнер, — моя специальность — матчасть 76-миллиметровых пушек.

— Ну что же, — сказал капитан, — договорились. Назначаю: вас, — он обратился ко мне, — первым помощником командира третьей батареи, а вас, — он посмотрел на Певзнера, — в первую батарею, командиром огневого взвода.

— Есть, — ответили мы.

Так состоялось наше назначение и первое знакомство с командиром артдивизиона.

В Особый отряд моряков Певзнер и я были зачислены во время нахождения отряда на фронте, во втором эшелоне войск Можайского направления. На переднем стекле грузовых автомашин, въезжавших и выезжавших из ворот территории казарм, часто выделялся белый прямоугольник с надписью:

Москва — фронт — Москва.

Однако понять структуру отряда было трудновато. Стрелковые батальоны, сформированные из моряков, преимущественно балтийцев, уцелевших после прорыва немцев на Вязьме, большей частью были на фронте, состав их в казармах менялся. Входил в отряд мотоциклетный батальон: в здание, где он размещался, мы ходили по утрам умываться. Была отдельная рота автоматчиков: молодые крепыши в чёрных морских шинелях и шапках несли караульную службу. Часовые с автоматами у ворот главного входа не препятствовали минутной встрече с родными, если выйдешь в кители без шинели и шапки.

Через несколько дней после нашего зачисления стало известно, что отряд переформируется в стрелковую бригаду с сохранением названия морской.

Артдивизион не имел ещё пушек — своей основной матчасти и не был ещё укомплектован личным составом. Предстоял период комплектования и обучения. Неизвестно было, какой тягой будут наделены наши пушки — мото- или конной.

Пополнение прибывало почти ежедневно, но ненадолго. Рядовых куда-то списывали, откуда-то прибывали новые. Появились краснофлотцы из Новороссийска, эвакуированные туда после взятия немцами Севастополя и Одессы. Поступали из госпиталей после излечения раненые. Такими в моём взводе оказались радист Быков и разведчик Касьянов.

Несколько человек из моего взвода — Умнов, Стегин,

Покровский — были москвичами и всегда особенно стремились домой. Куда там! Об увольнении домой, нас предупредили, — не может быть и речи. Больно было осознать, что недоступно мне тридцатиминутное путешествие пешком до дому или на метро. Почему так? Зачем это? Непонятно и обидно... А Умнову-то до дома пройти всего десять минут нужно.

Приказ, запрещающий увольнения в город, был строгим, нарушать его не решались. Отдельные смельчаки, впрочем, находились...

Вскоре мы получили новенькие трёхдюймовые орудия, определилась и тяга: пушки привезли и поставили в сквере, за казармами, трактора ЧТЗ — Челябинского тракторного завода — стояли там же на морозе.

Трактора часто портились (или замёрзали), чумазые, перепачканные трактористы лежали под ними на спинах, что-то ремонтируя, наши пушки стояли в ряд поодаль, занесённые снегом.

По утрам мы приходили в сквер для занятий и тренировок, сметали снег с пушек, расчищали вокруг них площадки.

Интересно было наблюдать тактические занятия наших пехотинцев, они часто проводились на пересечённой местности Центрального парка культуры и отдыха имени Горького — напротив казарм, через реку. Много часов уделялось ежедневно строевой подготовке пехотинцев. Москва-река была занесена снегом, мы переходили её на лыжах, а территорию парка использовали для тренировок в прокладке телефонной линии и передаче по ней команд и сообщений.

Количество телефонных аппаратов и катушек с проводом ПТФ было недостаточным, и тренировки приходилось ограничивать расстоянием в два-три километра.

Бойцы пехотных батальонов уходили для учений далеко за парк. Возвращаясь обратно, они жгли костры из беседок, плетёных кресел, шезлонгов, деревянных помостов и скамеек парка. Костры были единственным местом, где можно было на морозе погреться: в ту зиму столбик термометра упорно держался около тридцати градусов.

Наше ученье шло плохо. В казармах был мрак и холод. За полтора месяца нашего пребывания там не исправили водопровод, канализацию, электричество. Тёмный кубрик, в котором разместились батареи, освещался чадящими фитилями, спали не раздеваясь. Были отдельные корпуса казарм, куда тянулся народ к батареям центрального отопления и к электрическому свету. Однако большее время проходило во тьме и холоде, да ещё при очень скудном питании. До учений ли тут

было! Много времени отнимали работы всякого рода. Сначала рыли во дворе траншеи и спешно сооружали над ними из тёса уборные. Потом получали технику, причём как-то удивительно неорганизованно.

Через две недели нам приказали сдать наши пушки на склады в Лосиноостровскую. Мы их сдали. Потом предложили получить там же новые 102-миллиметровые орудия с предлинными стволами. Съездили туда, получили. Снова приказали сдать 102-миллиметровые пушки, опять получить трёхдюймовки. Эти — новенькие — остались у нас.

Ещё хуже было с тракторами и конной тягой. Трижды переменили лошадей, от восьмидесяти до ста двадцати голов, два раза переменили тракторную тягу.

Эти операции возлагались почему-то на меня. Много ли времени взводу своему при этом уделишь?

Во второй половине января получили мы две походные радиостанции, однако долго не давали в батарею радистов. Наконец, дали двух: Быкова и Даньчина. В помощь к ним и для обучения пришлось прикрепить Колесова и Лапшина.

Наладка и проверка радиостанций, зарядка батарей велись в большой спешке перед самой отправкой на фронт.

Наконец-то определилось главное: нашей батарее дали быстроходные тягачи НАТИ-5 с кузовами, а также семнадцать лошадей и восемь саней: на трёх из них мы соорудили крытые кузова из фанеры. Сани предназначались для подвозки боепитания.

Казармы с каждым днём пустели: бригада уходила на фронт. Куда? На какой фронт? Ответ был непроницаемой тайной.

В конце января командование дивизиона устроило прощальный вечер комсостава. Приглашались жёны и родные. Собирались взносы — по шестьдесят рублей с человека. Я решил не приглашать своих родных на вечер, но деньги внёс и полученный “сухой паёк” (главное в нём — сливочное масло!) переправил домой. Вечер заключался в повальном “дозволенном” пьянстве.

К Певзнеру пришли две сестры. К Мальцеву пришла жена — маленькая, скромная.

Водки было много. Закуски мало. Батальонный комиссар Моцкин держал речь, провозглашая тосты. Бригаде присвоено было звание гвардейской. Я не напился. Удержал в себе серьёзное, вдумчивое настроение.

ФРОНТОВОЙ ДНЕВНИК

17-е февраля 1942 года

В деревне Жегалово Калининской области

Хочется восстановить в памяти события и впечатления последних дней. Письма писать бесполезно — вряд ли дойдут они отсюда.

А мысли мои все в далёкой Москве, среди родных, любимых, близких моему сердцу...

По железной дороге

30-го января наш эшелон, после трёх дней стоянки, двинулся, наконец, со станции Кожухово Окружной железной дороги. К фронту! Настроение довольно пониженное. Лично для меня эти три дня стоянки в Кожухове ознаменовались сплошной беготнёй и разъездами по Москве в поисках дезертировавшего из моего взвода краснофлотца — радиста Даньчина. Был на квартире его сестры на Первой Мещанской улице, в комендатуре города, в пересыльном пункте, в экипаже. Выполнял тяжёлый долг командира взвода. В последний день, перед отъездом в помощь, а может быть, и для руководства дали мне сопровождающего — помощника начальника особого отдела, который показал в этом сыском деле и большое искусство своё, и рвение. Безрезультатно однако. Даньчин как в воду канул. Я так и предполагал, что мы его не найдём. Человек он тёртый, а оборона Одессы наложила на него определённый отпечаток. Наконец, это сплошное дёрганье, усугублённое получением явно невыполнимых приказаний и довольно жидким питанием, кончилось. Поздно вечером мы двинулись в путь. Перед самой отправкой здесь же на станции был перед строем дивизиона расстрелян краснофлотец нашей бригады — некий Скотинкин. Тоже дезертирство. Зрелище не из приятных. На него выводили всех в приказном порядке. Я был дежурным по батарее и, прикрываясь этой маркой, не вышел из вагона. Оставался со мной в вагоне и мой радист, младший командир Быков, который, между прочим, сказал: “Убейте меня, товарищ лейтенант, стрелять в него я не стал бы”. Я промолчал на это. Хорошо, что в это время здесь не было нашего комиссара. Была бы Быкову баня! Краснофлотцы с расстрела вернулись возбуждённые, правда, чувства у многих были противоречивые. Рассказывали, расстрелянный держал себя внешне спокойно, даже несколько вызывающе, курил, подбрасывал ногою камешки. Стреляли шесть человек на расстоянии десять шагов. По одному человеку из каждого подразделения. Все отобранные батальонным комиссаром. Из моего взвода выбор пал на командира отделения разведки Козлова. Он — выдержанный партиец и стрелок меткий.

Через два часа прибыли на станцию Лихоборы Окружной железной дороги. Москва рядом, а не видишь! Стояли около суток. Следующая остановка — Ховрино Октябрьской железной дороги. Здесь задержались более чем на двое суток. Ходили в баню. Бельё не выдали: надели старое. Неприкосновенный запас — одна смена белья — у меня был, однако решил отложить,

надеть в более тяжёлые времена.

В вагоне наслаждаюсь теплом! После полутора месяцев дрожания в Хамовнических казармах в Москве это более чем приятно. Да, теперь, находясь уже не в железнодорожном товарном вагоне, могу беспристрастно сравнить “отдых” и “ученье” в Хамовнических казармах с путешествием по железной дороге. Последнее было значительно приятнее и лучше. Имеешь возможность погреться, посушиться у печки, поспать, посмотреть на свет Божий... Только вот с питанием было очень неважно. Сытых дней, пожалуй, не видели...

Путешествие по железной дороге длилось до станции Бологое Октябрьской железной дороги и закончилось лишь 13-го февраля.

Очень напряжённо работает ещё дорога. До Калинина нас буквально проталкивали. Перерывы между толчками доходили до суток. Крупные задержки были в Подсолнечной, в Крюкове, в Клину. От Калинина ехали быстро.

От Крюкова до Калинина — картина сплошных ужасающих разрушений. Не верится даже, что когда-то, ещё в 1931 году, я бродил здесь, по Крюковским лесам, собирал грибы, пил кофе, молоко на веранде вместе с Анной Васильевной и Марией Васильевной Чёрнышовыми. Тогда было лето, теплынь, зелень, молодость. Тогда на всё смотрел жадными глазами влюблённого в жизнь человека. Тогда всё привлекало: красота подмосковной природы, шум и нарядность пригородных платформ и станций, пестрота сменяющихся впечатлений.

Теперь зима. Занесены снегом поля. Разбитая и изуродованная железная дорога. Взорванные мосты, валяющиеся после бомбёжки вагоны, платформы, цистерны. Сожжённые станции. На протяжении всей дороги подорванные телеграфные столбы и валяющиеся на земле бесконечные провода.

В Крюкове сохранилось не более 20% всех строений. Остальные — обгорелые трубы, развалины, руины. Торчит снесённая на две трети высоты прямым попаданием труба кирпичного завода. Рядом с ней — остатки сараев, уничтоженные миномётным, по-видимому, обстрелом. На дорогах, во дворах, у крылец и порогов — трупы красноармейцев. Замёрзшие, грязные, босые (валенки сняты), иногда даже с обрезанными кусками шинелей. Их подбирают на сани, сваливают в общие ямы. Но ведь больше месяца прошло, как были выбиты немцы из Крюкова! Или убитых было астрономически много? И почему не видно трупов немцев? Говорят, что ими набит целый сарай. Я его, однако, не видел. Целый день бродил по Крюкову, смотрел трупы, разбитые танки и машины, трактора и танкетки. Много отгороженных участков с надписью: минировано. Бродил с начальником связи

дивизиона, старшим лейтенантом Лапшёвым. С ним быть приятнее, чем с другими. Бесспорно, что он культурнее других из командного состава дивизиона. Остальные — народ очень серый, даже на редкость. Командир батареи — сибиряк, человек неплохой, добрый малый, и я рад такому, но читает он по складам, как бы заикаясь, чем часто вызывает чуть заметную улыбку у многих краснофлотцев. Комиссар батареи Зуяков часто кричит: “Застрелю, разжалую!” Кричит на краснофлотцев, что ходят с распушенными у шапок ушами, а у самого уши в это время распушены. Кричит, что процветает мат, а сам в это время матерщинит.

В Крюкове с начальником связи залез на тяжёлый танк, провалившийся в ловушку. Внутри — вцепившийся в пулемёт труп окоченевшего танкиста. Труп, может быть, героя сидит в танке больше месяца! И это на ходовой станции, в сорока пяти километрах от Москвы!

Примерно такая же картина и в Клину, и в Калининe. Впрочем, в Калининe уже ползает трамвай. Несколько меньше пострадала Подсолнечная.

Станция Лихославль. Ошеломлённое население тупо смотрит, как краснофлотцы нашего остановившегося эшелона тащат сложенное в штабеля сено, ломают на дрова пристанционные постройки. Капитан приказывает прекратить безобразие. Выносят молоко. Меняют литр на две пачки махорки, на мыло. В махорке терпим периодически нужду, однако многие меняют. Я не меняю, но с этих пор положил в карман одну пачку. Буду носить. Может быть, когда-нибудь это будет единственный кусок хлеба.

В Бологом стояли двое суток в каком-то далёком тупике. Ходил на лыжах. Один раз со взводом, но для себя неудачно. Много раз падал при спуске с горок. Ребята смеялись, но добродушно. Ходил на лыжах к нашему сбитому двухмоторному бомбардировщику.

Снова было общее построение всего личного состава дивизиона. Опять заседание особого отдела. Судили двух краснофлотцев: Кривоногова, из орудийного расчета нашей батареи, за дезертирство (он дезертировал ещё в Москве, и я искал его параллельно с Даньчиным), и другого, из транспортного взвода дивизиона (шофёр, фамилии не помню). Шофёра судили за кражу: он украл в близстоящем домишке у местной жительницы-старушки одну буханку чёрного хлеба. Председатель суда особенно пристрасно допрашивал, не голод ли толкнул его на этот поступок, на что он, конечно, отвечал отрицательно. Обоих приговорили к расстрелу с заменой

расстрела отправкой на передовую линию фронта, где им предоставляется возможность смыть кровью свои преступления!

Вечером того же дня грузили в эшелон продукты. Темень была непроглядная, носить мешки с продуктами краснофлотцам приходилось далеко по путям, через несколько железнодорожных составов. И, несмотря на то, что нашим батальонным комиссаром Моцкиным были поставлены на ноги комиссары всех батарей и расставлена значительная часть среднего командного состава, краснофлотцы всё же ухитрились и “спёрли”... тридцать две буханки хлеба. Ловок русский человек в воровстве!

Кормят сейчас два раза в день. Утром и вечером, оба раза суп, обычно клёчки из ржаной муки. Эту муку, кстати говоря, в количестве нескольких мешков стащил где-то на станции из стоящего рядом состава командир транспортного взвода Велижевский. От комиссара ему, конечно, был нагоняй, однако мука использована для общей кухни эшелона. Клёчки делают часто, так как хлеб дают на день когда 400, когда 300, а иногда и по 200 граммов. Довольно голодно. Однако терпимо, так как целые дни валяешься в вагоне и ничего не делаешь. Об организации занятий говорят много, больше того: строго требуют, осыпая, как правило, подобные приказания обильной матерщиной. Однако люди всеми правдами и неправдами стараются увильнуть от занятий. Дисциплина заметно расшатывается, пустой желудок рождает апатию. Заметно растёт нервное возбуждение, что больше всего проявляется в крике командного состава на бойцов и особенно в безнаказанной матерщине. Отмечу ещё резко определяющееся обособление нашего штаба во главе с командиром и комиссаром. Там, в вагоне штаба, — патефон, круглосуточное присутствие смазливеньких медсестёр и санитарок, одну сделали маникюршей, другую — парикмахершей, третью — машинисткой. Там ежедневно вино, котлеты, сливочное масло, печенье. А откуда они берут масло и печенье? Едят за счёт положенного средним командирам! Вход туда возможен только командирам и комиссарам батарей, которые, время от времени приобщаясь к капитанскому столу, возвращаются обратно в вагон к личному составу в приподнятом настроении, с боевым победным духом.

13 февраля

После непродолжительных манёвров по железнодорожным путям станции Бологое двинулись дальше. Утро, часов десять. Стреляют малочисленные зенитки, высоко в небе реют немецкие

бомбардировщики. Их немного. Бомбёжки не слышно. День ясный, солнечный. Мороз не сильный. Определяется наш дальнейший маршрут. Едем по однопутной железной дороге, окаймлённой зелёным еловым лесом. Пушистые ели стоят торжественно и неподвижно, осторожно удерживая на развесистых лапах тяжёлый груз снежного покрова. Путь — на Великие Луки. На первой же станции — Куженкино — отправляю в Москву, по традиции, две открытки. Станция паршивенькая, сомневаюсь — дойдут ли? У работающих на путях по очистке от снега ремонтных рабочих — местных бабёнок — узнаю станции по этой линии. За Куженкино пойдёт Баталино, далее Фирово, Горовастаца, Чёрный Дор. Расстояние между станциями двадцать-тридцать километров. За Чёрным Дором железная дорога обрывается. Следует город Осташков, но путь к нему разобран. Немцы в него не заходили, однако путь был предусмотрительно разобран. Сейчас пути восстанавливаются настолько, насколько это возможно при снеге и морозе. Станции этой линии ежедневно подвергаются бомбардировке с воздуха. Где немцы, что в их руках, что в наших — бабы не знают. Сообщают, что местность на запад и на север очень гористая, покрыта густыми лесами. Сами мобилизованные на трудфронт жительницы окрестных деревень получают по 200 граммов хлеба в день. Вид голодный и истощённый.

Едем быстро на запад. На станциях почти не задерживаемся. Состояние всех напряжённое. Всё время следишь за воздухом. Личные вещи собраны. Оружие, гранаты у всех на себе. Где будем разгружаться? Думаю, что в Чёрном Доре. От начальства никаких информации не исходит. Это действует неприятно.

Сам я чувствую и держу себя спокойно. Вообще замечаю, что усложнение обстановки вызывает увеличение во мне спокойствия. Во всяком случае, растёт внешнее проявление спокойствия.

От Горовастицы до Залучья

13-е февраля 1942 года

2 часа дня. Прибыли на станцию Горовастица. Двадцать минут прошло, как со станции после бомбёжки улетели немецкие самолёты. Удачно! Получаем приказ выгружаться. Выгружаться приходится на высокую коротенькую погрузочную платформу, поэтому наш эшелон периодически подтаскивают к платформе по мере разгрузки с платформ — в первую очередь пушек, тракторов, тягачей и лошадей из вагонов.

Выгрузка плохо организована, но проходит всё же быстро. Или время в работе бежит незаметно?

Мне по плану положено разгрузить со своим взводом управления восемь саней с платформы, из них три крытых кибитки с имуществом связи, разведки и хозяйством старшины батареи. Ездовые подают уже выгруженных лошадей, тут же попарно запрягают в сани. Командир батареи мимоходом приказывает погрузить на пять свободных саней ящики с боезапасом и двигаться по дороге до первой деревни Щучье. Исполняю. Какой-то пехотный командир подходит ко мне и, показывая на беспорядочное скопление тракторов, пушек, лошадей, людей, на шум и крики, насмешливо говорит: “Бить вас, моряков, некому за такую выгрузку. Ваше счастье, что в воздухе немец не летает”. Молчу, он прав.

И вот я шагаю вдоль растянувшегося по дороге обоза из восьми подвод. Дорога скверная. Много не расчищенных, занесённых снегом участков. Отделение разведки моего взвода и часть телефонистов встала на лыжи — растянулись по обочине дороги.

Заходим в Щучье. Это наполовину разрушенная и брошенная деревня. Направо и налево у сохранившихся домиков стоят наши тягачи с пушками. Ко мне подъезжает верхом на Умном комиссар нашей батареи Зуяков, приказывает подыскать помещение и разместить на отдых личный состав моего взвода. Огневые расчёты уже разместились в четырёх маленьких и населённых хатах. Я выбираю брошенный и полуразрушенный дом, в сохранившейся комнате ставлю печку, навожу чистоту, размещаю краснофлотцев. Подыскал конюшню для своих семнадцати лошадок, устроил и их неплохо. Иду докладывать командиру батареи. Темнеет. Обедаем в темноте, спим на полу, вповалку.

Около двенадцати часов ночи вызывает к себе командир

батареи. Даёт листок бумажки с двумя десятками названий деревень. Это — маршрут следования. Мне приказывает двигаться с обозом, за тракторами, от деревни к деревне. Даёт указание, где делать большой привал, и где будет кухня. Километров сорок от Щучье деревня Павлиха. Выйти в 1 ч. 00. Идти ночью. Весь маршрут — на сто пятьдесят-двести километров, по немецким тылам вдобавок. Куда идём? На Великие ли Луки? Или на Холм? Или на Новгород? Два десятка названий деревень при отсутствии карты (а карты не было и у командира батареи. Была, говорят, у капитана — командира дивизиона, но я её не видел) — ничего не говорящая бумажка. И где немцы? Как далеко? За десять, двадцать или за сто километров? На эти вопросы командир батареи не пожелал (а вернее — не мог) ответить. Только оборвал, как всегда, резко, чтобы я выполнял полученный приказ: двигаться вперёд. Никаких указаний насчёт охранения, насчёт порядка общего движения, насчёт конечного пункта следования. Здесь мне невольно вспомнился слышанный мною ещё в Москве рассказ о том, как один командир под Москвою осенью тысяча девятьсот сорок первого года, ведя колонну транспортных автомашин, не имея карты и плохо ориентируясь в местности, завел её прямо в расположение неприятеля. Тогда я говорил себе: “Мудрено воевать с такими командирами!” Сейчас думал о том, как легко оказаться в положении этого командира.

Возвращаясь в дом, где в сохранившейся комнате на втором этаже спал мой взвод и ездовые, здорово наработавшиеся за день, я встретился с командиром автотранспортного взвода нашего дивизиона старшиной Велижевским.

Это лихой и пронырливый полячишко, прославившийся ещё в Москве, в бытность нашу в Хамовнических казармах, угоном чужих машин, а также бесплатной “покупкой” бензина и автола для нужд нашего дивизиона. В пути следования он обратил на себя моё внимание, когда на станции Кожухово при расстреле краснофлотца Скотинкина после общего залпа, когда тот упал, подбежал к нему и со словами “по врагу революции!” выпустил в него все семь патронов из нагана. Характеристика дополняется, если вспомнить, что он был командиром взвода, прославившегося в пути лихими кражами всего, что попадало на станциях под руку. Одет он был всегда с иголки, во всё меховое. Заячья шапка, заячий полушубок, заячьи рукавицы мехом вверх и внутрь. С ним — ППШ, наган и парабеллум за пазухой. В бою — человек отчаянной храбрости, по его словам, конечно. Командир дивизиона, видно, ценил его.

Встретив Велижевского, я вспомнил, что он сегодня с командиром дивизиона делал на эмке нечто вроде

разведывательного рейса. Я остановил его и попросил описать мне хоть приблизительно маршрут следования до деревни Павлиха. Оказалось, что до Павлихи они не доезжали, а доезжали только до деревни Красуха, вёрст двадцать пять от Щучье. Путь по большаку, плохо наезженному и не расчищенному после снежных заносов. Дорога плохая. Местами лесом. Из деревень немцы отступили, местность вся была оккупированная. Путь от Щучье идёт через деревни Большое Веретье, Мошенки, Красуха.

Далее на моей бумажке значились деревни Заплавье, Карпово, Мижлово, Лучки, Павлиха. Здесь Павлиха была подчёркнута, и под чертой стояло — 40 км.

Поблагодарив его за сведения, я пошёл к своему взводу. Уже двенадцать часов ночи, пора будить людей, снимать связанных, выделенных мною в штаб дивизиона, снимать два выставленных мною, тоже по приказанию штаба, поста — у кухни и у продсклада. Отдыхающих, в общем, было немного. Сам я чувствовал большую усталость. Она, впрочем, забывалась за возбуждением.

Прибежал связной от командира батареи, передал приказ: выделить из взвода четырёх телефонистов с аппаратами и кабелем, радиста с радиостанцией и двух разведчиков с буссолью, которые поедут вперёд нас на тракторах, с пушками. Командир батареи не надеется на то, что я с обозом угонюсь за быстроходными НАТИ. Выделил лучших, в том числе командира отделения разведки Козлова и командира отделения связи Умнова. Дал три аппарата, два километра провода ПТФ на катушках и радиостанцию 6-ПК с радистами Колесовым и Авдеевым. Рацию 12 РП оставил себе вместе с лучшими радистами Быковым и Лапшиным. Радистам дал волны, позывные для ключа и микрофона, установил часы для связи.

Лошади запряжены. На пять минут собираю взвод, вернее, своих обозников. Людей — семнадцать, лошадей — семнадцать, саней — восемь. Устанавливаю порядок кильватерного следования. Впереди, за пятьдесят метров, должны ехать два верховых разведчика: Смирнов и Афонин. На головных санях еду я. Старшина батареи — в середине обоза. Замыкающим на Полундре — главстаршина Максимцев, расторопный, глазастый человечек. Устанавливаю наблюдение за тылом и сторонами. Инструктирую о поведении в пути. Мне задают вопросы: “Куда едем?” Отвечаю с глубокомысленным видом: “Пока до деревни Павлиха — сорок километров, а там будет видно дальше”. Ответ явно не удовлетворяет.

Снова прибежал связной. Новый приказ: двигаться совместно с обозом первой батареи, с ним идёт лейтенант Мальцев. Это

неприятная новость! Ну да пёс с ним! Пусть пристраивается в хвост! Впрочем, по номерам батарей ему надлежит двигаться впереди. Однако у меня преимущество: кроме замыкающей Полундры — все парные запряжки.

Ровно в час ночи четырнадцатого февраля я со своим обозом выехал на дорогу. Темнота — хоть глаз выколи. Мороз градусов на двадцать. Мимо нас с грохотом проносятся трактора с пушками сначала нашей, третьей, батареи, затем первой — лейтенанта Соколова. Приходится пропустить, остановиться. Считаю проплывающие мимо в темноте пушки. Отсчитав все восемь, двигаюсь вслед. За мной, как и предполагал, движется обоз лейтенанта Мальцева. А где наша вторая батарея? Ребята говорят, что она ещё не прошла и пяти километров от станции Горовастаца до Щучье. Мысленно представляю себе, как мучается с конной тягой по такой дороге лейтенант Шароваров, командир второй батареи.

И вот я шагаю рядом с головной подводой по тёмной, пустынной дороге. Кругом снег, поля...

Идя в темноте по рыхлому снегу и наблюдая далеко за горизонтом вспышки от артиллерийской канонады, я рад был возможности предаться на свободе размышлениям. Сегодня, при разгрузке порученной мне платформы с санями, я заметил странное явление. Несмотря на предварительно проведённую подготовку по распределению среди личного состава взвода обязанностей по разгрузке, несмотря на тщательно продуманную организацию этого несложного дела, несмотря на то, что каждый знал свои обязанности, разгрузка прошла плохо. Люди суетились, кричали, бестолково толкались и хватались не за своё дело. При моём вмешательстве и замечаниях беспомощно и как бы бессильно опускали руки. В чём же дело? Ведь народ во взводе у меня толковый, бойкий, сильный, в должности рядовых много младших командиров, и неплохих к тому же, как говорят, “отработанных” младших лейтенантов. На этот вопрос ответ у меня не нашёлся. Впрочем, я, кажется, понимаю, в чём дело. В “Севастопольских рассказах” Лев Толстой говорит, что “из-за креста, из-за названий, из угрозы” — воевать не будешь. Это верно! Для войны требуется другое. Ни дисциплина, ни палка, ни красивые слова не заставят воевать человека, воевать, вкладывая в войну душу, так, как воевали в 1854 году защитники Севастополя. Действительно, для войны нужны иные “высокие побудительные причины”.

На разгрузке, удивляясь, отчего у моих подчинённых беспомощно опускаются руки, я не понимал того, что подсознательно дошло до каждого бойца моего взвода. Это то,

что от стрельбы по мишеням, от занятий и учений мы переходим к активным действиям, направленным к окончательной цели.

Вскоре, почувствовав усталость, я решил не идти, а ехать. Немногие шедшие рядом с санями последовали моему примеру. Периодически я слезал с саней и пропускал мимо себя весь обоз, чтобы убедиться, в порядке ли у меня всё, запомнить и проверить, где, на каких санях кто из моих бойцов едет. В одну из таких проверок обнаружил “прибавление семейства”: с моим обозом ехали краснофлотцы первой батареи, из обоза лейтенанта Мальцева. Я согнал их. В дальнейшем приходилось не раз прогонять их к своему обозу. Неудовольствие, с которым они покидали мой обоз, несколько льстило мне. Я знал, что они завидуют краснофлотцам моего обоза, которым я разрешил ехать, в то время как им подсаживаться на сани было строго запрещено лейтенантом Мальцевым. Я же решил требовать только, чтобы лошадей жалели, облегчали сани, при подъёме в гору соскакивая с них, а в остальное время всё же лошади для людей, а не наоборот. Лошадей следовало беречь, учитывать, что это первый переход для них после длительного стояния в вагонах, однако и людям требовался отдых, а впереди — день, несущий с собой неизвестность!

Вот уже проехали деревню Большое Веретье. Снова лес, поля... Горы, раскаты... Изредка встречные автомашины. Трудно разъезжаться. Нагнали мы трактор с пушкой первой батареи. Лейтенант Лебедев мучается. Сбил с дороги и завяз в целине. Трактор ЧТЗ без фар, не так, как наши НАТИ. Те нет-нет, да и блеснут фарами, осветят себе дорогу. Останавливаемся. Помогаем вытащить пушку. Трактор отправился. Снова дорога, ночь.

Не доезжая километров пять до Красухи, снова нагоняем трактор с пушкой. Это опять завяз, забравшись в целину, лейтенант Лебедев. Вдобавок что-то испортилось в тракторе. На этот раз перегоняю его, не задерживаясь. Беспомощный вид артиллеристов, толпящихся около пушки, махающий руками и мечущийся из стороны в сторону лейтенант Лебедев невольно наводят меня на мысль, что у него творится нечто подобное тому, что наблюдал я в своём взводе во время разгрузки саней на станции Горовастица. Однако не могу же я бесконечно задерживаться! Внутреннее стремление моё всё то же — вперёд! Вероятно, говорит чувство долга?!

Въезжаю в Красуху. Здесь стоят трактора и пушки. Ко мне подходит лейтенант Соколов, командир первой батареи, торопливо расспрашивает и выслушивает мою информацию о его застрявшем тракторе. Высылает на помощь Лебедеву комиссара

батареи с несколькими, кажется, краснофлотцами. Комиссар довольно громко и понятно даёт знать окружающим, что он едет выполнять свой тяжёлый комиссарский долг. Снова командир первой батареи справляется у меня об обозе лейтенанта Мальцева. Мальцев отстал от меня, чему я был рад, когда это заметил.

Трактора и батареи уходят. Двигаюсь и я после непродолжительной стоянки на пустынной улице деревни. Уже четвёртый час ночи. Сведения о дороге, данные мне вечером Велижевским, с приходом в Красуху исчерпались. Заметив на окраине деревни несколько саней со стоящими рядом военными, решаю использовать случай для получения информации о дальнейшем пути следования на деревни Заплавье—Павлиха. То, что сообщают они мне, приводит меня в недоумение. У меня на моей бумажке путь на Павлиху идет через Заплавье—Карпово—Мижлово—Лучки. По их сообщению, дорога по этому пути занесена снегом, и там даже с обозом пробиться невозможно. Есть другой путь на Павлиху, дальше этого километров на тридцать, однако более проходимый. Мои продолжительные расспросы приводят меня к убеждению, что они говорят правду. Однако куда пошли наши трактора? Дорога часто раздваивается. В темноте идти по следу невозможно. И где наш штаб? Если меняется маршрут, почему меня не поставили в известность об этом? В душе поднимается злое чувство: бросили! Однако надо принимать решение: налево или направо ехать, и принимать решение уверенно, так, чтобы уверенность была воспринята краснофлотцами обоза, следящими за мною в семнадцать пар глаз.

Решаю ехать по изменённому маршруту. Мимоходом записываю у одного из красноармейцев, по-видимому, бывалого в этих местах, деревни до Павлихи по новому маршруту. На обороте бумажки появляется: Ореховка — 6 км, Голенёк — 3 км, Турская — 5 км, Лучки — 4 км, Святое — 6 км, — Павлиха. Вот новый путь.

И снова скрип саней, посвистыванье и окрики ездовых. Наверху — звёзды, кругом — снежная равнина с проплывающими каждый час деревнями.

В семь часов стало рассветать, крепчал мороз, проснулся и аппетит. С собой — ничего съестного. А до Павлихи далеко. Дорога становилась всё труднее и труднее. Горы, мосты, не расчищенные участки, множество разъездов со встречными автомашинами и обозами. Большую часть дороги всё же делали пешком. Не усидишь на санях: то подъём, то поддерживаешь сани на раскате, то останавливаешься для пропуска встречной

автомашины. Верховым разведчикам тоже надоело всё время ехать впереди верхом, и вскоре эту обязанность стали нести поочередно все бойцы моего взвода. Один участок на дороге — километров пять-шесть — пожелал ехать верхом и я. В дальнейшем таких попыток не предпринимал, убедившись в слишком большом своём неуменье: совершенно не умею ездить рысью, как ни старался облегчаться на стременах — ничего не получалось.

Верховая разведка сильно помогала мне, осуществляя связь по растянувшемуся обозу, разведывая впереди дорогу и деревни.

Во втором часу дня въехали в долгожданную деревню Павлиха. Голодные люди, проголодавшиеся лошади. Их только поили утром. Здесь мы должны были найти кухню на автомашине, также сено и овёс для лошадей, погруженные ещё в Щучьем, по приказанию командира батареи, на трактор. Взамен погруженного на трактор сена нам на последние сани была водворена бочка с бензином. Сделано это было в связи с тем, что командир батареи перед отправкой из Щучьего решил было взять впереди тракторов двух верховых разведчиков. Перед самой отправкой передумал, а на водворение обратно в обоз наших скудных запасов сена времени не хватило. В Павлихе, мол, разменяемся!

Велико было наше разочарование, когда по приезде в Павлиху мы не обнаружили там ни тракторов с пушками, ни кухни. Да и вообще никого, кто бы сообщил нам, куда делись трактора, и когда придёт сюда кухня, которая нас не перегоняла.

А измучились мы порядком. Я не спал уже вторые сутки, путь был проделан свыше сорока километров, ели последний раз вечером прошлого дня. Без того тощие наши лошадёнки, как и люди, приустиали и приуныли.

Дав приказание старшине Максимцеву, возглавлявшему езовых, свернуть с обозом в первую же боковую улицу, где распрячь лошадей и дать им один час отдыха, я в изнеможении опустил на ступеньки крыльца первой попавшейся мне хаты. Кругом толпились, еле передвигая ноги, ребята моего взвода. К нам подошли спешившиеся и пустившие своих лошадей “покачаться” два верховых разведчика. Не имея, кажется, сил подняться, я предложил им разведать положение в первой же избе направо, показавшейся мне наиболее чистенькой и обширной. В случае удачи — всем разместиться там на полу и вздремнуть немного. Вскоре туда по одному просочились все мои ребята, за исключением Максимцева и езовых, хлопотавших ещё около лошадей. Последним пошёл туда и я. Если не считать Щучье, где я лишь мельком заглядывал в хаты, это было первое посещение

мною крестьянской избы и едва ли не первое в жизни.

Обширная изба была чисто вымыта, на стенах — полки, украшенные свежезастланной разноцветной бумагой с фестонами. Большая белая русская печь занимала четверть избы и вместе с небольшой деревянной перегородкой делила её на две комнаты. Передний угол был весь уставлен иконами, образующими целый киот. Серебряные ризы икон окаймлялись искусственными цветами и белоснежными вышитыми полотенцами. Посредине комнаты на длинном и толстом шесте качался в зыбке младенец. Трое других — бегающих — вертелись тут же под ногами.

Как я в глубине души и предполагал, мои ребята, конечно, и не думали спросить у хозяйки избы разрешения на водворение. Хоть для вежливости бы! К сожалению, это качество отсутствует в натуре русского человека, в чём можно всегда легко убедиться. И валенки наши, наполовину занесённые снегом, наделали на чистом, недавно вымытом полу не только следы, но и лужи. Молодая хозяйка, шуршавшая в соседней комнате, и старик на печи на наш приход никак, видимо, не реагировали.

Громко поздоровавшись с хозяевами, я кратко, но выразительно выставил ребят из избы чистить веником валенки (веник, кстати, лежал у крыльца), а сам, опустившись на лавку, снял с себя то небольшое, что висело на мне. А висели на мне только бинокль, который я опасался оставлять в санях из-за возможности его покражи, и полевая сумка, с которой я не расставался по причине наличия в ней достаточного количества карандашей, тетрадей и чистой бумаги.

Кто-то из бойцов завязал разговор с хозяйкой: “Ну, как долго у вас тут немцы хозяйничали? Поди обобрали всех?!”

Хозяева в ответ сообщили, что в деревне немцы стояли месяцев пять, ушли в январе, насчёт “обирания” и “грабежа” пробормотали нечто не совсем искреннее и внятное, вроде “вестимо, мол!”

Тщательно прислушиваясь к их ответам, я сделал вывод (который в дальнейшем неоднократно находил подтверждение), что им, во-первых, смертельно надоело отвечать на эти вопросы, которые ежедневно и многократно задавались почти в одной и той же редакции каждыми заходящими в избу красноармейцами, во-вторых, что искренность в ответах определённо отсутствовала, больше того, скрывалась в ответах неприязнь.

Долго сидеть и подремать на лавке мне не пришлось. По улице прокатилась и тут же остановилась эмка командира дивизиона. Поспешно застегнув расстёгнутые пуговицы шинели, нацепив на себя бинокль и сумку, я вышел на улицу. Командир и

комиссар стояли около машины. В открытую дверку видно было, что машина изрядно забита тюками и чемоданами.

— Почему стоите? Почему не двигаешься дальше? — вот чем встретил меня сразу командир дивизиона.

Я сколько мог бодро, даже весело ответил, что, проехав более сорока километров, я решил предоставить отдых лошадям и людям, тем более, что здесь мне должны были дать маршрут дальнейшего следования и привезти сюда корм — как лошадям, так и людям.

В ответ капитан приказал мне не ждать здесь никакой кухни, а ехать до деревни Петровщина — ещё километров десять: “Там ваши трактора, там вас и покормят”... И, не ожидая дальнейших вопросов с моей стороны, сказал “айда”, сел с комиссаром в машину и уехал.

Я поплёлся к своему взводу, вернее, к ездовым, которые уже успели забраться в какую-то избу.

Зайдя в ту, в которой, как я предполагал, они разместились, не застал их, а увидел уже знакомую картину: чисто вымытый пол, прибранный и украшенный угол с множеством икон. В избе была лишь босая старуха, которую я тут же, многозначительно поглядев на пол, на иконы, поздравил с праздником. Было 15-е (2-е) февраля — Сретение.

— Вот только вчера, дорогой мой, сорок человек выкатились, — сказала она мне, — почитай часу не проходит, чтобы новые не ввалились, еле выбрала время пол вымыть.

Я скорее успокоил её, сказав, что на помещение её не покушаюсь, а ищу ребят своих, уже где-то разместившихся. Узнав это, я пошёл в избу напротив. Неожиданная картина представилась там моим глазам. Ездовые, во главе с Максимцевым, потные и красные от старанья, сидели за столом, за большим пузатым самоваром, и ели выкладываемые хозяйкой из печки горячие пресные лепешки, наподобие блинов. Увидев меня, с большим радушием, отчасти с подобоострастием, стали приглашать меня к самовару, на что я, мало помедлив, согласился. Так как “блины” уже кончались, а к чаю неплохо было бы приобщить и сахар, я сбегал к обозу, где в санях лежали мой вещевой мешок и чемоданчик. В вещевом мешке у меня было несколько кусочков сахара и сухари — “н.з.” — неприкосновенного запаса, которые тут же и нашли себе применение.

Чаепитие продолжалось недолго, ездовые уже запрягли по моему приказанию лошадей. Перед моим уходом радушная хозяйка дала мне выпить кружку молока, а я поделился табаком со слезшим с печки дедом.

И вот снова наш обоз ползёт по дороге, снова с трудом разъезжаемся со встречными обозами и машинами, снова то подсаживаешься в сани, то бредёшь с ребятами по дороге.

До Петровщины оказалось далеко не десять километров, а значительно больше, и путь туда лежал не через одну ещё деревню, ни в каком маршруте не указанную. Стоит ли описывать весь этот путь? На бумаге картина получится довольно однообразная. На неё не перенесёшь игру солнца сквозь ели на девственных лесных дорогах, бескрайность занесённых снегом полей, стаи спугиваемых с дороги жёлтых овсянок и бесконечные думы свои, и наслаждение созерцанием природы...

Время шло к вечеру. Лошади стали останавливаться. Мы тоже выбивались из сил. Петровщина! До неё осталось всего версты три-четыре! Две версты! Вон уже видна и деревня... но что это? Из деревни выползают и с грохотом уходят по дороге наши тягачи с пушками. Мы подходим к деревне в объезд, чтобы миновать большую гору. Не доезжая до деревни километра полтора (деревня стоит от большака в стороне), нас встретил на эмке капитан с батальонным комиссаром. Открыв дверку машины, он, к ужасу моих безмолвствовавших ребят, приказал мне в деревню не заходить, а ехать дальше в деревню Залучье, где и ночевать. “Это отсюда километров девять!” — успокоил он меня. Я с плохо скрываемым отчаянием в голосе заявил ему, что лошади уже останавливаются, и люди со вчерашнего дня ничего не ели, что...

— Ничего, доберёшься! — перебил он меня и захлопнул дверку. Машина умчалась.

Свистел ветер. Мы стояли на самой верхушке горы, куда только что с трудом добрались. Уже темнело. Мимо нас с грохотом проезжали бесконечные вереницы артиллерийских запряжек: проходил какой-то артполк. Решили снова попоить лошадей. Ребята довольно основательно пали духом.

Я придерживался спокойно-насмешливого тона, только в глубине души думал, что отставший со своим обозом Мальцев делает, пожалуй, умнее, не особенно-то торопясь вперёд. Сидя на санях, пока шёл водопой коней, я думал о том, что просто честное и добросовестное выполнение своего долга, не говоря о большем, невозможно в нашей стране. Ведь я добросовестно старался не отставать от своих тягачей и пушек, добросовестно выложил на это все свои и лошадиные силы, и что же? Вместо элементарного внимания к движению моего обоза — случайные встречи с капитаном, его дёргающие и изматывающие приказания, недоверчивые, подозрительные, косые взгляды...

Сидеть на морозе, на ледяном ветре, несмотря на смертельную усталость, — это совсем не тепло, не так, как в

движении по дороге.

Вскоре мы все запрыгали, однако тут нас поджидала счастливая неожиданность. Рядом с нами остановилась автомашина с кухней, и через несколько минут мы уже делили на ящиках с боезапасами буханки хлеба, четверть котелка у каждого оказалось заполненной пшённой кашей. Хлеб пилили пилой, до такой степени он был замёрзший (дали по восемьсот граммов!), каша тоже была замёрзшая, но её всё-таки уничтожили быстро. Окончательно, наконец, замёрзнув, пустились чуть ли не бегом за своим обозом по дороге на Залучье. Наверху — снова звезды, в замёрзших рукавицах — краюхи оставшегося хлеба, который грызли наподобие жмыха. На сердце стало веселее.

От Петровщины до Залучья путь был особенно трудным. Обогнавший нас артполк, в хвосте которого мы очутились, всё время тормозил движение. Много раз создавались пробки, во время которых обессиленные люди валились на сани и тут же засыпали. Наполненный желудок вселял в меня бодрость, а возбуждение всё ещё покрывало усталость. В одном месте мы довольно долго помогали вытащить безнадёжно застрявшую в обочине дороги автомашину с грузом, в другом — сами мучились со своими кибитками и санями, не могущими никак преодолеть обледенелую гору... Всякого было много, как говорится...

В Залучье и Жегалове

В деревню Залучье прибыли в полночь. Не хватало часу до суток, как мы в дороге, почти в непрерывном движении. Здесь нас поджидала неудача: деревня была сплошь забита какой-то крупной расквартировавшейся воинской частью. Добравшись до середины деревни, наш обоз остановился, беспорядочно разъехавшись вправо и влево. Ребята мои остались с санями, хотя спать не давал сильный мороз: было, вероятно, около тридцати градусов. Я пошёл бродить от дома к дому, ища выхода из создавшегося положения. В одной большой избе, битком набитой красноармейцами, я совершенно неожиданно для себя столкнулся с “чёрной шинелью”. Ну кто же мог здесь быть в морской форме?! Конечно же, из нашей бригады! Это был начфин дивизиона.

— А я тебя ищу и ужасно рад, что вижу! — встретил он меня горячим рукопожатием. — Здесь недавно проезжал на машине командир дивизиона, он велел передать тебе его приказание двигаться дальше, не останавливаясь здесь, тут в четырёх, что ли, километрах деревня Жегалово. Там ночуют и тягачи ваши!

Потребовалось воззвать к силе воли, чтобы, выслушав это, сохранить свою выдержку и спокойствие! Ведь шли уже вторые сутки, как лошади ничего не ели, ведь пройдена ими была добрая двойная норма километров пути, да можно ли было и людям двигаться без сна, почти непрерывно вторые сутки? Может быть, это и было возможно ценою больших усилий, но за жизнь лошадей, и без того достаточно дохлых и тощих, я серьёзно опасался. А в случае падежа в пути ответственность пала бы безусловно на меня! Да и новый приказ мой своему взводу “двигаться дальше” мог повлечь за собою не только расшатывающие дисциплину разговоры, нарекания и лишний раз осуждение начальства, но и прямое невыполнение приказа, хотя бы путем вольного или невольного отставания.

В течение дня я нагляделся: мы не раз нагоняли и перегоняли “отставших”, эту “третью степень дезертирства”!

— Не пойду! — решил я, изложив всё это нашему симпатичному начфину. Он искренне соболезновал мне и тут же, приняв от меня поток излияний, ответил тем же, распространившись на тему о том, сколько горечи и злобы рождает одно только созерцание движения нашего “цыганского табора”, как называл он нашу бригаду.

— Эх, Володя! — сказал он. — Вы наблюдаете только движение и беспорядок в масштабе дивизиона, а я уже порядком сижу здесь в деревне и наблюдаю эту цыганщину в масштабе всей

бригады! По-моему, на фронте все разбредутся в разные стороны, и как всех собрать — неизвестно. Здесь был командир дивизиона, он спрашивал меня, начфина, где его штаб! Начштаба, лейтенант Колбасов, не подаёт признаков жизни, связь между штабом и подразделениями отсутствует, вся дорога усеяна отставшими и переутомившимися краснофлотцами. А ведь мы только начали двигаться к фронту! И до него ещё, видно, далеко! И хорошо ещё, что соприкосновений с противником, как больших, так и малых, не было! И с воздуха-то нас никто не трогает! А что будем делать на фронте, когда всё это появится, с нашей-то организацией! Однако главное всё же другое. Недавно сюда с попутной какой-то машиной приехал командир взвода разведки дивизиона лейтенант Аристархов. Он был голоден и измучился до отчаяния, взвод его весь растерялся по дороге: краснофлотцы подсаживаются и уезжают на попутных подводах и машинах. В это время тут была наша уже порожняя кухня. Он подошел к ней и, взяв у старшины с полбуханки черного хлеба, отрезал себе ломоть, остальной отдал обратно. Внезапно, — особенно нервно и злобно продолжал начфин, — из машины выпрыгнул наш батальонный комиссар Моцкин (да и не Моцкин он, знаете ли? Ведь его настоящая фамилия, — начфин пригнулся и зашептал что-то мне на ухо)... Ну, да это я к слову, так вот слушайте. Подбегает он к Аристархову, весь дрожит от злости, выхватил у него из рук уже надкушенный ломоть хлеба и ударил его кулаком по лицу: “Сволочь! Ещё средний командир! Не знаешь, что ли, что и кусок хлеба имеет норму!” — кричал он. И это на улице деревни, среди бойцов, народа! Ну, подумайте только! А сами ведь жрут..., — окончание бедный начфин заскрежетал зубами...

— Нет, вы знаете ли, — продолжал он, — что кушают-то они в штабе всё то, что получается для нас с вами, ведь мы не видим положенное нам сливочное масло или печенье! Всё оставляется и съедается в штабе! Причём львиная доля идёт, конечно, командиру и комиссару. А вот ещё: меня, начфина, посылают сейчас за бензином в Горовастичу! Вы подумайте только, ведь я начфин! При чём тут получение бензина? И ещё не дают для этого автомашину, а приказывают привезти на попутной. Ну, ладно, ещё мне одному добраться на попутных машинах до Горовастичы, но вот как можно с “попутными” пристроиться оттуда с четырьмя бочками бензина? Ума не приложу!..

Долго ещё разливался начфин, но я его дальше почти не слушал. Я слишком устал. Устал настолько, что совсем не отвечал на его тирады, хотя в голове бродили думы и мысли, ему импонировавшие. Я вспомнил, как в деревне Щучье, зайдя в избу, где разместился наш штаб, мне пришлось быть свидетелем такой

сцены: батальонный комиссар Моцкин, с трудом втащив в сени изрядно пьяного ветврача нашего дивизиона, в исступлении и ярости награждал его пощёчинами, бил сапогами и, густо матерясь, потрясал перед его носом сорванным с него наганом...

Я думал о том, что вот и я, командир взвода управления батареи, взвода, который можно назвать глазами и ушами батареи, взвода разведки и связи батареи, вместо выполнения своих прямых функций плетусь с обозом, выполняя функции, которые с успехом могли быть возложены на старшину батареи, да и на любого младшего командира. Правда, в глубине души я только благодарил Бога за то, что хотя временно попал в “обозники”. Чувство долга всегда было во мне развито, стремления же скорее попасть на передовую я в себе не наблюдал. Да и было ли оно в ком-нибудь? В порывах вперёд командира и комиссара батареи я совершенно ясно видел притворство, желание выслужиться перед капитаном и перед батальонным комиссаром, соответственно, комиссар и капитан дивизиона выслуживались перед полковником — командиром бригады! О командирах взводов говорить нечего: желание выслужиться отсутствовало так же явно, как и стремление вперёд, присвоенная нам роль покорных и молчащих пешек заставляла нивелироваться с рядовым составом. Этому способствовало полное отсутствие разницы в питании, одинаковость жизненных условий. Вышестоящее начальство всеми силами старалось отмежеваться от нас, смотрело на нас, как на младших командиров.

Правда, абсолютное большинство средних командиров и не заслуживало иного по своим личным качествам. Невежество, невоспитанность, неопрятность, низкая выучка были неотъемлемыми качествами очень и очень многих. Однако всё же как можно было, например, мне, командиру взвода артрязведки и связи, не выдать топографическую карту, не ознакомить с обстановкой, с задачей, поставленной перед батареей? Понимает ли также начальство, что поныне верна суворовская аксиома: “Путь к победе лежит через желудок солдата”?! А ведь слишком частые голодовки на фоне общего недостаточного питания, вечные нехватки табака никак не способствуют поддержанию духа у рядового состава...

Мороз крепчал. Мы с начфином стояли на крыльце избы, набитой красноармейцами, навалившись животами на перила. Глаза блуждали по тёмной улице, переходя с силуэтов часовых у пушек на силуэты дворов, подвод, распряжённых лошадей. Стояла тёмная ночь.

— Однако что же мне делать? Ведь это приказ — двигаться дальше! — сказал я начфину после минуты короткого молчания.

— Вот это уж не знаю, — ответил начфин. — На всякий случай имей в виду, что часа через полтора-два деревня будет свободна, так как эта воинская часть её покидает. Ну, я пойду в помещение, а то замёрз окончательно. Ты знаешь, я здесь превосходно устроился на печке. Тепло, как в Африке! Заходи и ты!

Я поморщился. Кроме тепла там могли быть и насекомые; в глубине души удивился, почему начфин так беззаботно игнорирует это обстоятельство. Начфин ушёл. Из открытой на мгновение двери вырвался спертый воздух и шум красноармейской разноголосицы. Действительно, как быть? Что делать? Ребята замёрзают на улице, двигаться дальше физически невозможно. Одна лошадь после распряжки сразу же легла тут же на снегу... Пойду проверю свой обоз, решил я, медленно спускаясь с крыльца.

Вдали на улице деревни на мгновение блеснули и погасли фары автомашинфы. Через минуту около меня остановился и запыхтел “пикап” начальника штаба лейтенанта Колбасова.

Выйдя из машины, начштаба прежде всего расспросил меня, где командир дивизиона со своей эмкой и трактора с пушками, приказал мне оставаться в деревне и ожидать здесь обоз лейтенанта Мальцева, хозвзвод и кухню, с тем чтобы дальше двигаться всем обозам вместе. По его расчётам, Мальцев и другие обозы должны были прийти в Залучье не раньше следующего дня. Сам же начштаба тут же отправился в следующую деревню Жегалово догонять командира дивизиона.

Воспрянув духом, так как приказание начштаба “остаться” отменяло приказание капитана “двигаться”, я отправился дальше к своему обозу, считая нужным перетащить лошадей и сани поближе к избе, которая через час освободится.

Своих ребят я застал за “делом”. Заключалось оно в воровстве из стоявшей неподалёку машины сухарей, гружёных в плотные бумажные пакеты. Машина охранялась поочередно двумя шофёрами, и пока один заговаривал с шофёром, второй “работал”.

Скоро сухари весело хрустели на зубах всего взвода, у многих наполнились и карманы, не забыли угостить и своего командира, чем я был искренне доволен. Возня с санями, “пикирование” (так называлось нами воровство или иная форма незаконной добычи) протолкнули время незаметно, и в третьем часу ночи мы уже ввалились в избу, в то время как оттуда вываливались красноармейцы.

Эти красноармейцы вели себя исключительно некультурно. Густой мат, несмотря на присутствие хозяев, в том числе двух

молодых девушек, плевки и сморканье на пол, где они же спали вповалку и без всякой подстилки, шум и крики, даже драка — вот что застали мы, впахнувшись с мороза в избу. Бедные хозяева уже, конечно, не могли спать и забились все в дальний угол за печкой. Их было пятеро: старуха-хозяйка, две дочери лет по восемнадцать-двадцать и двое ребят — мальчик и девочка в возрасте трёх-пяти лет. Изба была похожа на другие избы этого района и мало чем отличалась от описанной ранее в деревне Павлиха. Передний левый угол был завешан иконами, в углу — стол, по стенам — лавки. Красноармейцы выкатывались неохотно, начальствующие над ними сержанты и младший лейтенант поминутно заходили в избу, приказывая всем немедленно выходить строиться, что каждый раз выполнялось только одиночками.

От поминутного открывания двери изба студилась, и хозяева в углу глухо ворчали. На завалинке русской печки коптила керосиновая лампа без стекла. Окна были замаскированы обрывками невероятного тряпья.

Пробравшись через гущу стоявших и лежавших красноармейских тел, я прошёл в передний угол и сел на лавку под иконами. По дороге я предупредил хозяйку, что занимаем помещение мы, на что она ответила недружелюбным молчанием. Наконец, после долгих окриков и уговоров красноармейцы повывались из избы, на смену им стали заходить мои ездовые, разведчики и связисты взвода. Я сидел, с трудом удерживаясь, чтобы не вмешаться в безобразное поведение красноармейцев. Мои смертельно уставшие ребята держали себя тихо.

Наступившая относительная тишина неожиданно была прервана громким и длинным ругательством ездового Конверова. Я привстал. Нервы не выдержали.

— Кто ругался? — спросил я с интонацией, не допускавшей, вероятно, невозможности ответа.

— Я, — ответил Конверов.

— Так вот, если я ещё раз услышу здесь что-нибудь подобное — стреляю на месте! — сказал я, кладя зачем-то на стол вытасненный мною из кобуры наган. Ребята и хозяева молчали.

Поняв, что слишком разнервничался, я тут же отдал младшему командиру-радисту Быкову приказание о порядке охраны наших подвод и, узнав у Максимцева о размещении лошадей, лёг на лавку, подложил под голову бинокль и шапку (верхом вниз), положил в кобуру наган, накрылся шинелью и мгновенно заснул. Шёл четвёртый час ночи.

Проснулся я в десятом часу утра. Ребята ещё спали. Начфин уехал ночью, как сообщила мне хозяйка. День был яркий, солнечный, с умеренным на дворе морозом градусов на пятнадцать-двадцать. Вскоре стали подниматься и ребята. Приказав радисту Быкову принести рацию РП-12, чтобы послушать последние известия, направился наружу, намереваясь достать из своего заветного чемоданчика бритвенные принадлежности, мыло, зубную пасту и щётку. Выйдя на улицу, на солнце, увидел подходивших краснофлотцев из взвода управления дивизиона. Меня не удивило их сообщение, что взвод плетётся группами и поодиночке, в то время как старший лейтенант Лапшёв, командир взвода, уехал вперёд на машине. Но, кроме этого, они передали мне совершенно ошеломляющую информацию, слышанную будто бы по радио старшим политруком — комиссаром их взвода.

Заклучалась она в сообщении Советского Инфорбюро о взятии обратно нашими войсками одиннадцати городов, в том числе Харькова, Орла, Курска, Брянска, Киева, Одессы, Смоленска и т.д. Известия ошеломляющие, и мы немедленно приступили к проверке их с помощью радиации. Развёртывал рацию и настраивался я сам, однако, когда по радио послышался знакомый голос диктора “От Советского Информбюро” и далее: “На фронте ничего существенного не произошло”, возбуждение у всех пропало, кислые мысли полезли в голову, из них особенно навязчивой была мысль об отсутствующем завтраке и о ненадёжности обеда.

Утро прошло в бритье, умывании, разговоре с хозяйкой. Вначале хозяйка избы на вопрос о пребывании немцев в деревне сообщила, что пробыли они здесь месяцев пять-шесть, ушли в начале января “в одночасье”, “боёв тут не было”. “Сами ушли”, — говорила она. На вопросы о грабежах, мародёрстве отвечала: “И-и, батюшка, сам знаешь, что и говорить!” — сокрушённо махала руками. Однако вскоре нам удалось расположить её в нашу пользу, она стала словоохотливее, почувствовала, что мы люди не вредные.

— А что это у тебя в сарайчике, бабушка, свинка-то хрюкает, — заметил я, — или немцы не отобрали?

— А у нас, видишь, ребятишки маленькие, — отвечала она. — У кого дети есть, у тех мелочь немец не отбирал!

— Ну, а с коровами как дело было? — допытывались мы.

— Колхозных-то всех наши угнали, ну, а личных-то коров немцы взяли пять штук. У нас, почитай, в каждом дворе корова.

Деревня Залучье насчитывала семьдесят пять дворов. Пять месяцев немцы пробыли в деревне.

— У меня в избе восемь немцев жили, — продолжала она. — Вот тут спали, — показала на переднюю часть избы, под иконами, — простыни стелили, раздевались. И всё-то у них есть: и щёточки, и ножички какие-то, и духи, и баночки всякие. И едят-то они не по-нашему, всё кофей пьют, хлеб ситный маслом мажут...

— Шоколад, вино и печенье им из Германии присылали, — вставила старшая дочь, стоявшая в это время у печки.

Далее хозяева рассказали, что письма и посылки из Германии приходили к их жильцам очень часто, что сами они много писали писем, что в посылках получали конфеты, печенье, фрукты, что народ немцы очень весёлый, у каждого губная гармошка. Здорово на ней играют и танцуют при этом.

— Женились здесь даже! — сказала старшая дочь, неопределённо улыбнувшись, на что младшая тотчас же фыркнула.

Узнав от ездовых, что рядом с конюшней, где были размещены наши лошади, находится склад трофеев, оставшихся от немцев, я пошёл туда.

Большая просторная конюшня была утеплена сверху настилом из досок в виде потолка, прошпаклёванного и заложённого сверху сеном.

— Немецкая работа! — заметил сопровождавший меня старшина Максимцев.

На двери в конюшню была сделана надпись “Neuf des Pferde”, а ниже ещё четверостишие. И надпись, и четверостишие были выполнены тушью на прекрасной толстой бумаге, выполнение было не только тщательное, типографским шрифтом, но и, безусловно, художественное. Первые буквы каждой строчки четверостишия были выведены, вернее, нарисованы красной тушью. Надписи были точно распределены на двери и аккуратно привёрнуты четырьмя шурупами каждая.

Зайдя в конюшню, я увидел налево дверь — тоже с соответствующей надписью и четверостишием. К несчастью, незнание немецкого языка не даёт мне возможности воспроизвести даже смысл написанного. Кроме злосчастного “Neuf des Pferde”, я ничего не понял. Дверь налево вела в склад, что, по-видимому, и значилось на верхней надписи. Надписями я просто любовался!

Войдя в помещение склада, мы увидели беспорядочную, весьма внушительных размеров груды поломанных и исправных мотоциклов, велосипедов, ручных, станковых и крупнокалиберных пулемётов, большое количество ящиков с

патронами, минами, миномёты, конскую упряжь (красной кожи и превосходного качества) и т.д.

Левый угол помещения был заполнен разваленными кипами писем. Бросив беглый взгляд на валяющееся германское вооружение и убедившись, что ничего подходящего для меня нет, я принялся за письма. (Хотелось мне заменить полевую сумку из дрянного дерматина хорошей кожаной, хотя бы немецкой!).

Первые же два немецких письма, вынутые из конвертов, сразу обратили моё внимание исключительной чистотой и аккуратностью письма, выполненного на хорошей буиаге фиолетовыми чернилами, без единой помарки и с небольшими полями. Мало сказать, что все просмотренные мною письма носили отпечаток чистоты и аккуратности. Их выполнение, безусловно, заключало в себе эстетические элементы. Шрифт (так же, как и в надписях на дверях) был только готический.

И здесь, к великому моему сожалению, кроме дат и мест отправления вроде “Kelhn, 18 iuli”, кроме начальных “Lieber Robert”, я, как ни бился, ничего понять не мог. А бился упорно и много. Доставал новые. Старался хоть в чём-нибудь уловить смысл. Запас немецких слов, которыми я располагал, оказался слишком скудным. Письма были только из Германии, преимущественно от июля-августа 41 года, в конце письма среди коротких фраз, прощальных приветов, поцелуев и пожеланий стояло почти неизменное “Да сохранил тебя Бог!” Много писем было женских.

“Да, далеко нашему не только красноармейцу, но и командиру до подобной культуры письма!” — думалось мне, когда я стоял в раздумье перед пачками писем, не зная, взять или не взять несколько из них. Перевести их я смог бы не раньше своего возвращения в Москву, а когда это будет? Уж, конечно, не вскоре, да и вернусь ли я ещё? В конце концов мысль о том, что впереди фронт, и неизвестна как моя судьба, так и судьба моей полевой сумки, — победила и рассеяла сомнения. Я не взял ни одного письма и в своё временное жилище — избу — вернулся с пустыми руками, но со многими свежими мыслями в голове.

Было два часа дня. Со вчерашнего вечера, за исключением “пикированных” сухарей, мы ничего не ели. Пришлось снова прибегнуть к сухарям. Хозяйка, видимо, располагаясь в нашу пользу, чему, безусловно, способствовало ограниченное количество постояльцев, — нас ведь было “только” семнадцать человек, — вскипятила нам в печке несколько котелков воды. У запасливого Максимцева нашёлся чай, и мы ожили: сухари размачивались в чаю и поглощались с удовольствием, которое не доставит и пирожное!

Во время этого приятного препровождения времени, причём общему хорошему настроению, безусловно, способствовал прекрасный солнечный день, и в феврале о весне напоминавший, дверь в избу открылась, и на пороге показалась чёрная шинель лейтенанта Мальцева — командира взвода управления первой батареи, следовавшего за мной со своим обозом.

Лейтенант Мальцев, типичный “лейтенант запаса”, менее всего напоминал военного. Сняв шапку и обнажив свою седую голову, он с тяжёлым вздохом опустился на лавку рядом со мной.

— Не по моим силам эта война! — тихо заговорил, скорее прошептал он, обращаясь ко мне. Я промолчал, сочувствуя ему и с уважением относясь к его пятидесятилетнему возрасту.

В голову пришла мысль, высказанная вчера в разговоре с начфином: насколько увеличился бы эффект работы каждого из нас, если бы каждый был на своём месте. Вспомнил и о том, что по мобилизации “местом” Мальцева было заведование одним из московских магазинов. Завмаг, иначе говоря. А теперь лейтенант. И ещё воюющей армии. И ещё впервые в жизни неизвестно для чего надевший морскую форму, которую и носить-то не умеет. Да и не желает, так же, как и воевать.

Неторопливо попивая чаёк под звуки какой-то транслировавшейся по радио музыки, Мальцев сообщил, что ночевал он с обозом в деревне Красуха, что за тракторами своими он поспевать не собирается, считает, что чем дальше в хвосте всей колонны, а главное — чем дальше от капитана и комиссара, тем лучше.

— Вот с питанием и, особенно, с фуражом, действительно, плохо! — согласился он со мною.

Кто знает, может быть, “действительно, плохо” нам предстоит только, и вспоминать об этом движении с обозом мы будем, как о счастливейшем периоде нашей фронтовой деятельности!..

Мальцев имел устное приказание от начальника штаба дивизиона: соединиться здесь, в Залучье, с моим обозом и далее вместе продвинуться в деревню Жегалово, что в четырёх будто бы километрах отсюда. Снова довелось мне возмущаться!

— Ну, какая разница, — жаловался я Мальцеву, — ждать подвоза корма лошадям в Залучье или в Жегалове? Делая в день по четыре километра, далеко не уедешь. А если бы мне подвезли корм, дали бы до ночи отдохнуть лошадям и людям, я ещё километров семьдесят отмахал бы! Ведь ту задачу, которую, как я понимаю, ставит передо мной командование дивизиона, — двигаться по возможности быстрее, по мере сил не отставать от батареи со своим обозом, — ведь эту задачу я стараюсь добросовестно выполнить! И что же? Вместо поддержки — палки

в колёса! Вместо организации подвоза фуража и продовольствия, вместо обеспечения людям и лошадям отдыха, вместо ознакомления с маршрутом следования, с противником, с задачей, поставленной перед батареей и дивизионом, — “голое администрирование”, выражаясь по-граждански, с тем лишь отличием, что здесь, по данной организации, критиковать действия и распоряжения начальников не будешь! Получил приказ — выполняй безоговорочно!

— Ну, вот и сейчас: получил приказ — давай выполнять, двинемся в деревню Жегалово, — сказал Мальцев, — только я раньше чем через четыре часа не поеду. Пусть отдохнут лошади!

Я согласился с Мальцевым, установив с ним время для перемещения в следующую деревню — Жегалово — 17.00, с тем, чтобы движение было осуществлено засветло.

Поговорив с Мальцевым о мнимом сообщении Советского Информбюро о взятии войсками одиннадцати городов, мы расстались. Между прочим, Мальцев подтвердил это сообщение, которое, оказывается, распространяется с удивительной быстротой, несмотря на то, что каждый сообщающий оговаривается, что “сам” не по радио слышал и не в газетах читал, а “слышал” от комиссара или политрука такого-то. Мальцев пошёл к себе в избу напротив. Между тем, мои ребята понабрали себе из трофеев немецкие лезвия для безопасных бритв, пулемётные пружинные ленты для винтовочных патронов, да и сами винтовочные патроны от нашей трехлинейки в весьма изрядном количестве, множество личных немецких фотографических карточек, кто-то ухитрился раздобыть даже брошенный кожаный бумажник. Лезвия были хорошего качества; патронные ленты, которыми ребята увесили верхние половины туловищ во всех направлениях, оказались кстати, так как имеющиеся у каждого патроны за отсутствием обойм, пакетов и подсумков содержались в россыпи, в карманах. А здесь запас патронов у каждого по меньшей мере утроился — ленты оченьгодились! Брошенные немцами фотографические карточки были, по-видимому, любительские, большинство стандартного размера — девять на двенадцать, однако любительские никак не в смысле примитивности выполнения: фотографии из наших фотографий могли бы полюбоваться на качество бумаги, на композицию и на художественную отделку снимков.

Моя глупая щепетильность, а может быть, и иные чувства, в которых я не старался разобраться, не позволили мне взять что-либо трофейное. Что-то мне в этом напоминало мародёрство! А может быть, повторяю, здесь была излишняя щепетильность! Так или иначе, я ничего не взял. Сейчас раскаиваюсь: досадно, что не

взял! Нужно было взять фотографические карточки и хоть пару писем для образца и перевода! Было бы что показать, и память бы об этом осталась.

Фотографии были из Германии, многие на обороте были надписаны датой и местом съёмки. Моё знание географической карты Германии оказалось слишком поверхностным: большинства мест я не знал, даже никогда о них не слышал. С горечью подумал, что от общего для всех невежества ушёл недалеко!

В семнадцать часов наши обозы двинулись в Жегалово. Опять горы, раскаты... Хорошо, что недалеко.

Пройдя до середины деревни, мы увидели в стороне от дороги подходящее для наших лошадей помещение рядом с солидным, в четыре окна, домом. В левой стороне дома квартировали какие-то чумазы, с песнями пьющие водку военные, трактористы. Два трактора стояли в снегу у дома.

В правой половине, состоящей из большой горницы с лёгкой перегородкой и, как везде, русской печью, жила женщина лет тридцати с тремя ребятами мал-мала меньше. Здесь мы и поселились.

Хозяйка наша не являлась владелицей дома: заброшенная сюда судьбой, снимала у чужих квартиру. Уроженка и постоянная жительница города Осташкова, она эвакуировалась с детьми после того, как мужа взяли на фронт, а немцы подошли к городу. Случилось же так, что город немцы не стали брать, а расселились по Селигеру, и она оказалась на оккупированной территории. Говорила о себе мало и неохотно. Видно было, что и дети, и она голодают, но чем могли мы помочь, когда у самих ничего не было?!

Дал я ей постирать бельё — у меня была нестиранная смена, дал имевшийся в запасе кусок мыла, предупредив, что возвращать остатки не нужно. Дал денег за работу. Она приняла с благодарностью. Кто-то из ребят взвода поступил так же. Печально было видеть эту мать голодающего семейства — измученную, измождённую, строго молчаливую. Бойцы мои, глядя на ребятшек, скорбно покачивали головами.

Спустился вечер. Я извлёк из своей полевой сумки общую тетрадку, выбрал химический карандаш поострее и приступил при свете керосиновой лампы к этим записям. Давно хотелось мне начать их!

В горнице тепло, по-домашнему уютно, а на дворе мороз к ночи крепчает. Ребята мои — плясун и баянист Афонин, старшина Мамонов, Лапшин, Быков и другие — отпросились на танцы, к девушкам, в ярко освещённую и шумную избу на краю деревни. Проводил их до места, а сам не заходил туда, вернулся в

тепло, в дом.

— Пусть молодёжь повеселится, кто знает, что будет завтра?!
— сказал я хозяйке. В ответ она бросила на меня косой взгляд.

— И с немцами вот так же эти девушки танцевали, а сегодня с нашими танцуют, что им! — заметила презрительно и сурово.

Да, что принесёт нам завтра?

Путь на Большие Жабны

18-е февраля 1942 года

Утро выдалось сегодня солнечное. На небе — ни облачка. Все хорошо выспались, встали, помылись. Я почистил зубы, достав после небывало длительного перерыва зубной порошок и щётку.

— Много войска здесь проходило, а вот вы — первый из командиров, что чистит себе зубы, что пошёл на фронт с зубным порошком и щеткой, — сказала хозяйка. — Не видела я здесь такого, чтобы зубы чистил.

— Мы моряки, хозяйка, а моряки все к этому приучены, — ответил я ей.

Продолжив разговор, я узнал, что шли мы, огибая озеро Селигер, на котором стоит её город Осташков, сначала шли по берегу Кравотынского плёса — это от Заплавья, а дальше на Турскую, на Сосницкий плёс, откуда спустились к берегам Березовского плёса, заходя в Святое, Павлиху и Залучье. А сейчас подошли к озеру Щебериха.

— Летом-то очень красиво здесь, и рыбы видимо-невидимо, — сказала женщина.

Да, я так и думал, что здесь летом должны быть сказочно красивые места, ведь они сейчас, зимой, столь чудесны!

Дорога вьётся всё время причудливой лентой — извилисты берега Селигера. Окружают озеро цепи холмов, леса и овраги — как всё это в зелени и голубизне лета или в осеннем золоте и багрянце должно ласкать взор и успокаивать душу!

Однако чуждые для слуха названия озёр, плёсов, деревень и объяснения без карты не помогают мне ориентироваться. Записываю старательно все названия, надеясь в будущем в них разобраться.

В одиннадцать часов я вышел на улицу и увидел стоящую на дороге автомашину с дивизионной кухней и пикап лейтенанта Колбасова.

Радоваться оказалось преждевременным: кухня была пуста. Впрочем, хлеб, по 300 граммов, и дневной паёк сахарного песка нам выдали. Уезжая, лейтенант Колбасов приказал нам трогаться дальше на Большие Жабны через Мамоновщину.

Напились чайку, поделились сахаром и хлебом с хозяйкой, с сожалением покинули уютную горницу в Жегалове. Солнечные блики на лавках вдоль стен, зайчики на полу и стенах, гостеприимство и радушие женщины, чуть-чуть оттаявшей на

второй день нашего знакомства, любопытные глазёнки ребятишек, чувство мира и покоя — надолго, думаю, сохранится это в памяти.

Снова движемся, теперь уже на Мамоновщину, слушаем скрип полозьев и цокот лошадиных копыт, скользящих на спусках по морозному насту.

Если описывать этот дневной путь, получится, вероятно, повторение ранее написанного.

Впрочем, не во всём повторение, немного иного будет. Вот встретила на дороге автомашина, полуторка, в ней четверо пленных немцев, один из них офицер. Все с непокрытыми головами, несмотря на крепкий мороз.

“Что будет с их ушами?” — подумал я, заметив, как они у офицера побелели. Конвоир с винтовкой сидит у заднего борта машины. Немцы примостились от ветра за кабиной. Куда везут их? На допрос? На расстрел? Смерть или плен ожидает их?..

...Идём по лесистому склону какой-то горной гряды. С левой стороны — обрывистый берег и снежные бескрайние просторы замёрзшей водной глади. На горизонте — леса. За ними — заходящее солнце. Оно освещает нашу дорогу и стоящие за ней вековые сосны. Дорога вьётся и вьётся, то в тень деревьев, то на солнце выходит. Вот спустилась к самому береговому склону. Лошади фыркают, пугливо поводят головой и ушами: здесь, на береговом откосе, раскинулись трупы двух убитых немцев. Крут откос. Лежат немцы на спине, почти рядом, шапок нет на них, густые рыжие волосы вдавились в снег, голубые глаза широко раскрыты, остекленели, смотрят как бы в недоумении на запад, на заходящее солнце. Струйки крови из носа и рта запеклись, застыли на лице. Вероятно, это расстрелянные. А кругом — тишина, покой, стайки синиц на деревьях, дивные, зовущие дали и вечернее февральское солнце...

На какой-то головокружительной горе — столпотворение автомашин, повозок, лошадей и орудий. Спускается вниз какой-то арtpолк.

Потеряв терпение — уже темнеет, — не стою в очереди, а выхожу со своими санями и двумя кибитками вперёд. Посадив лошадей на хвосты, съезжаем вниз, как на салазках.

...Стычка с каким-то артиллерийским капитаном. Он кричит на меня. Хватается за наган. Лезу за наганом и я. Выручают ребята моего взвода: растаскивают нас, как двух петухов, налетевших друг на друга.

И уже нет капитана, нет арtpолка, снова дорога, поля, временами — встречные машины с вспыхивающими фарами, на небе — звёзды...

Поздно вечером втянулись в Большие Жабны.

Небольшой тупичок вправо от дороги. Солидный, благоустроенный домик. Хозяева долго не отворяют, не хотят пускать. Но нам не до сантиментов. Прибегаем к угрозе. И вот ввалились в жарко натопленные комнаты. Вскоре на полу храп раздался.

Я уединился в кухню, встретился там с постояльцем этого дома — воентехником первого ранга (на него-то и ссылалась хозяйка, отказываясь пустить нас, объясняя через закрытую дверь, что помещение у неё занято).

Да, оказалось занятым, однако только одним человеком, причем далеко не безынтересным.

Несмотря на усталость, ночная беседа с ним надолго затянулась.

Воентехник жил здесь, по его словам, с начала войны и имел прямое отношение к снабжению фронта боеприпасами. Подробнее на своей деятельности не останавливался, а я, понимая, что такое военная тайна, не счёл нужным расспрашивать его об этом. Оказался он москвичом, работником завода “Динамо”, и, узнав, что я из Москвы, очень обрадовался этому.

— Ну, как, правду ли говорят, что Москва сильно разрушена от налётов германской авиации? Мы слышали здесь о них. Сам-то я, как 4-го июля был призван, так и попал на Северо-Западный. В Москве родных не осталось — не переписываюсь ни с кем.

— Неправда, — отвечал я, — повреждения, нанесённые Москве германскими бомбардировщиками, можно назвать ничтожными, — и я стал рассказывать о первой ложной тревоге в Москве в начале июля, о настоящих тревогах и крупных налётах с бомбёжками с двадцать второго на двадцать третье и с двадцать третьего на двадцать четвёртое июля. О роли метро как бомбоубежища, о дежурствах населения у подъездов домов и на крышах. О борьбе с зажигательными бомбами и о том, как сам гасил зажигалки и сбрасывал их со своего балкона с пятого этажа нашего девятиэтажного дома, о затруднениях с продовольствием и о карточках.

О том, как бомба в тысячу килограммов угодила на улицу Горького, как другая снесла середину большого дома на Моховой, разрушила купола университета.

О том, что на Красную площадь и на Кремль ни одной бомбы сброшено не было. Также и на вокзалы. Больше же всего остановился я на трагикомических событиях в Москве 16-го октября, когда вся Москва дрожала в безумной панике, а считавшие себя передовиками и предводителями позорно бежали

первыми, бросив город.

Мои правдивые и искренние рассказы о происходящем в Москве и вообще в тылу вызвали собеседника на ответную откровенность.

— Приготовьтесь к встрече и к столкновению с тремя главными китами войны на Северо-Западном фронте, — сказал мне воентехник. — Во-первых, это нехватка продовольствия и голод; во-вторых, массированные и безнаказанные налёты германской авиации: они хозяйничают в воздухе, почти не встречая противодействия с нашей стороны; в-третьих, нехватка боеприпасов, голод в области боепитания. Сколько боекомплектов на оружие везёте вы сейчас?

— По два боекомплекта, — ответил я.

— Обычная норма, — сказал воентехник. — Этого вам хватит на десять дней наступления с боями, ну, от силы на две недели.

— Подвезут ещё, — вставил я. — На базах по железной дороге, я слышал, боеприпасов хватает.

— Хватает! — передразнил воентехник. — Знаем, как хватает. Здесь ведь тоже база, потому что я сижу тут, да вот беда, давно пусто в ней. “Подвезут!” Много ли тут подвезёшь, когда он нещадно бомбит дороги?! А автомашинам путь немалый — больше двухсот километров выходит.

— Знаете ли вы, — продолжал он, — что здесь, на этом участке Северо-Западного фронта, к началу войны были сосредоточены наши кадровые части, отлично экипированные и обученные? Можно сказать, что немцы разгромили их без боя, без выстрела, только с воздуха, авиацией, уничтожили и распылили всё, что было. Теперь от кадровых частей наших ничего не осталось. Этого пороха вы ещё не нюхали, а ведь горько получается: целые соединения уничтожаются, расстреливаются с воздуха, топчемся из-за отсутствия танков и авиации на одном месте, наступать не можем, вот, к примеру, хоть Молвотицу взять...

Здесь он развернул военную карту, в которую я с большим любопытством уставился, и показал юге Молвотицу — большой районный центр Новгородской области, занятый немцами и блокированный нашими войсками.

— Вероятно, мы будем брошены на Молвотицу, — высказал я предположение, услышав, что под ней слегла уже не одна наша дивизия.

— Зачем? Вряд ли, — сказал воентехник, — там уже дерётся много народа, не меньше, чем дивизия или бригада, достаточно для какого-то села, пусть это и райцентр. Вас куда-нибудь ещё двигают. Либо на Лычково — видите на железной дороге? Потом

на Крестцы или Валдай... Либо на Демянск... Или на Залучье...

Я смотрел на карту, но мало что сумел запомнить и понять из возможных направлений. Он опять свернул и спрятал её.

После сообщённых им разнообразных и интересных сведений о природе здешних лесистых и болотистых летом мест, о населении, о том, как протекало наступление, и что известно про оккупированные противником места, разговор перешёл на оценку общего хода военных действий. Во многих вопросах мы оказались единомышленниками, в суждениях дополняли друг друга.

— Почему в Отечественную войну 1812 года, — говорил я, — Кутузов заявлял, что за десять французов он не отдаст одного русского? Так же думали, полагаю, и другие офицеры русской армии. А сейчас самой дешёвой “техникой” считают человека, солдата. Немцы воюют самолётами, бомбами, миномётами, а мы людьми, пехотой, — и я рассказал ему о заваленном трупами красноармейцев Крюкове, где сражались Панфиловские дивизии.

В памяти воентехника таких примеров было больше, и он поделился ими со мной. Рассказал, как ему довелось лежать в канавке на опушке леса, где размещался резервный полк, и как немцы сделали налёт на лес, в течение нескольких часов сбросив на него тысячи тонн бомбового груза. Они проделали операцию с немецкой тщательностью, педантичностью и жестокостью, не оставив нетронутым даже кусочка земли.

Говорили мы об утомлении войск и о невежестве в большинстве своём командного состава, о том, что войну несут на своих плечах рядовые солдаты, младшие лейтенанты и лейтенанты, младшие политруки да политруки.

Когда же конец этой войне будет? Не видно пока. А голод берёт всю страну железной хваткой. Подготовленность наша к войне оказалась негодной. Кто представлял себе, что начало войны и её развитие будет таким трагичным для русского народа?

Беседа была на редкость задушевной, обоим облегчила душу. Не зная даже фамилии друг друга, мы чувствовали себя друзьями, братьями, встретившимися после долгой разлуки, но не потерявшими взаимную любовь и доверие.

На передовую

19 февраля 1942 года

Кончался керосин в лампе, пламя слабело, и мы поочередно выкручивали фитиль. Затухала наша долгая ночная беседа. Интересна была она, однако сказывалось сильное утомление.

—Пойду, сосну, — сказал воентехник, вставая со скамьи и потягиваясь. Я тоже поднялся и стал выбираться из-за стола. В соседней комнате с жарко натопленной печкой храпели, лёжа на полу, бойцы. Комната освещалась большой лампадой, ярко горевшей перед образами, заставившими передний угол.

Дверь скрипнула. Это вышли на улицу к лошадям и повозкам старшина Максимцев с ездовым Конверовым. Я вышел вслед за ними.

Светало. Был сильный мороз. Белый пар вырывался с дыханием изо рта. В небо над избами поднимались тяжёлые, густые струи белого дыма. Безветрено.

“А мороз-то, пожалуй, на тридцать пять — тридцать семь градусов”, — подумал я, собираясь вернуться и последовать примеру моего приятного ночного собеседника.

— Тпр-ру, чётр, — доносились из конюшни голоса ездовых вместе с храпом и ржаньем лошадей. Оглянувшись на улицу села из глубины того коротенького тупичка, где остановился наш обоз, я увидел неторопливо шагающий по середине дороги ночной патруль: три бойца с автоматами. Что бросилось в глаза и непривычно поразило — это белоснежные маскировочные халаты, в которых был патруль, тем более, что мы все были в чёрном морском обмундировании, за исключением немногих ездовых, вроде Конверова, и моего радиста Колесова, которые были в серых красноармейских шинелях и шапках.

“Всё ближе и ближе к передовой”, — подумалось мне, так как до сих пор в маскхалатах нам ещё никто не встречался.

Внезапно до слуха донёсся отдалённый грохот. Я прислушался. Сомнений не было: это входили в Большие Жабны наши тягачи с пушками. Да, именно наши — НАТИ-5, а не первой батареи. Ставшие уже привычными их грохот и быстрота, с какой они приближались, бесспорно, подтверждали удивившую меня мысль, что это именно наша, третья, Калугинская, батарея. Однако как же получилось, что она оказалась позади нас, как же мы обогнали её?

Мороз пробирал даже через китель, меховой жилет и две

смены белья (я вышел на улицу в шапке, но без шинели). Бегом поднявшись по ступенькам крыльца, я толкнул одну дверь, вторую, и вот уже шинель на мне, подвязаны уши у шапки.

Тягачи с пушками я встретил, выбежав на улицу. Высоко в открытых кузовах сидели и лежали покрытые белым инеем наши артиллеристы. Немногие сидели на пушках, рискованно пристроившись бочком чуть ли не у самых колёс. По-видимому, заметив в тупичке повозки нашего обоза, ходко шедшие тягачи остановились, растянувшись с пушками по улице метров на двести. Я побежал к головному, в кабине которого из трёх сидящих узнал комбата Калугина. В кабине следующего ехал второй помкомбат Трофименко, в кабине третьего — командир первого огневого взвода лейтенант Осипов.

Когда я поравнялся с кабиной, Калугин открыл дверцу и, не вылезая из этого, вероятно, тёплого места, сказал:

— Почему не в масккостюме? Быстрее надевайте их и айда с нами. Забирай всех разведчиков, связистов и всё необходимое имущество взвода. С обозом пусть останется старшина Максимцев и ездовые. Вам там делать нечего, ваше место в боевом строю, на передовой, а не в обозе!

— Где получить масккостюмы? — поспешно спросил я, заметив, что комбат очень нервничает. В таких случаях у него даже в одной фразе всегда обращения на “вы” и на “ты” чередовались и путались.

— На последнем тракторе, там у старшины батареи получите, — ответил Калугин и захлопнул дверцу.

Вскоре я с разведчиками и связистами своего взвода уже наряжался в новенькие белоснежные костюмы. Помогая друг другу, мы завязывали тесёмки на валенках у щиколотки, на рукавах, на поясе, на шее, у башлыка, скрывшего шапку. Забинтовал и бинокль. Полевая сумка — неразлучная спутница моя с планшетом, компасом, карандашами, разрозненными инструментами готовальни и тетрадами — оказалась под маскировочным костюмом, а кобура с наганом — даже под шинелью, на поясном ремне. Патроны к нагану в бумажных пачках и просто россыпью оттягивали карманы шинели.

В таком боевом виде, передав старшине Максимцеву командование над нашим батарейным обозом и перегрузив на тягачи имущество связи и боеприпасы, я снова появился перед командиром батареи. Ребятам моего взвода скомандовать о порядке их размещения на тракторах не пришлось: каждый устраивался как мог, так как кузова тягачей были высоко нагружены имуществом батареи, вещевыми мешками бойцов и самими бойцами, в своих ослепительно белых костюмах под

лучами восходившего из-за леса на горизонте багрового диска... Будет солнечно и морозно. А сейчас — люто морозно.

Хлопоты ли повлияли, или новая обстановка, определившая, наконец, моё положение, подействовала, но настроение моё, несмотря на бессонную ночь, проведённую в тех памятных и на редкость откровенных разговорах с незнакомым воентехником в избушке, единственную для меня ночь в этой большой ли малой деревне Большие Жабны, — я так и не успел рассмотреть её, — настроение моё сделалось каким-то ровным, покойным, радостно приподнятым, даже немного торжественным.

Наступающий яркий, солнечный день, скрипящий, укатанный снег под ногами и покрытые инеем, местами мохнатым и крупным, наши серо-зелёные тягачи и пушки, знакомые лица наших артиллеристов — всё как-то способствовало такому настроению. Себя я, естественно, не видел, но вид у меня, когда я шёл от орудия к орудию, был, вероятно, радостный, весёлый.

— Сюда, к нам! Пожалуйте к нам, товарищ младший лейтенант! — кричали мне артиллеристы.

— Погодите, приду ещё, — отвечал я на приветствия и двигался дальше, к первому орудию, около которого стоял комбатр Калугин.

— Разрешите доложить: всё готово, — сказал я, — только вот не завтракали сегодня, — прибавил осторожно. Но Калугин на это ничего не ответил.

— Садись, выбирай себе место, где найдёшь, трогаемся в путь, — сказал он, поворачиваясь и берясь за дверцу кабины трактора.

— А что за путь предстоит? — спросил я его.

— Чёрт его знает! — ответил Калугин. — Сначала на Шубино, потом на Новую Деревню и на какие-то там Холмы. А ну, по местам! — закричал он, увидя нескольких бойцов, топтавшихся около пушки, торопливо юркнул в кабину. Я быстро пошёл прочь, прикидывая, где бы поместиться.

— Давайте-ка руку, забирайтесь к нам, — окликнули меня бойцы из кузова второго трактора.

“Ох, и высоко же”, — подумал я, очутившись через несколько секунд на вещевых мешках, набросанных плотной горой в кузов, и подумывая о воротах околицы: не зацепят ли?

Вот с грохотом тронулся в путь первый трактор со своей пушкой, задрожал на месте, качнулся и загрохотал наш. Развивая скорость, трактора и пушки покидали деревню. На улицах пустынно. Проводов не было.

Опять путь. Опять заснеженные поля, леса и перелески. С грохотом проходишь через деревни с сожжёнными через четыре

на пятую избами, с опасением смотришь на проплывающие над головой провода, кое-где пересекающие улицу. Не задели бы! Вот и полусожжённое Шубино. Вот и Новая Деревня. У отдельных домов стоят бабы и ребятишки, смотрят молча на проносящиеся мимо тракторы и орудия с длинными, задранными вверх стволами. Скорость приличная! Тридцать-сорок километров в час делаем, пожалуй.

Как же красиво кругом! Залитые солнцем белоснежные поля, зубчатый окоём леса на горизонте, берёзовые рощи, вьющаяся дорога с четырьмя упорнодвигающимися по ней всё вперёд и вперёд тягачами и пушками, и никого кругом. Солнце, мороз, воздух, снег. Хочется спать, но так качает здесь, наверху, что только в полудремоту какую-то иногда впадаешь. А тут опять разнообразит дорогу уж и не знаю какая по счёту деревня с занесёнными снегом избышками, чёрными бревенчатыми дворами и сараями на пригорках.

Деревня Холмы. Здесь оживлённо. Узнаю многих из нашей бригады. Стоят автомашины транспортного взвода. Из избы в избу быстро перебегают девушки-санитарки, знакомые лица. Однако мы проходим Холмы, не останавливаясь и не снижая скорости. Вот уже и крайняя изба. Спуск вниз: дорога пересекает поле и в километре отсюда уходит в лес.

Головной трактор с первым орудием уже мчится примерно на середине пути к лесу. Наш останавливается у стоящего перед спуском начальника артиллерии бригады майора Сорокина.

— В чём дело? Почему остановились? — спрашиваю я, ни к кому прямо не обращаясь. Майор молча показывает на небо. Мы стоим на самом спуске, в тени какого-то сарая. Невдалеке, тоже в прикрытии, остановился следующий за нами трактор с орудием, там лейтенант Осипов.

— Давай, проскочите! — говорит майор и машет рукой водителю.

Через несколько минут мы уже заполняем грохотом густой зимний лес с непомерной высоты корабельными соснами. Снежная целина просеки, несколько уже утоптанная, резко ограничивает скорость нашего передвижения. Часто останавливаемся. Уже нагнали первое орудие, сзади цепочкой выстроились третье и четвёртое. Одолевает дремота. Глаза слипаются. Ночь без сна даёт себя знать. Кто-то окликает меня снизу. Открываю глаза — снова стоит майор Сорокин. Приказывает оставить здесь маяк, чтобы указывал направление общего движения всем вслед нам идущим. Что ж поделаешь? Приказы начальства не обсуждаются. Моих ребят нет, поэтому приходится оставить здесь одного бойца из артиллерийского

расчёта второго огневого взвода лейтенанта Юшина. Он спит тут же, в кузове, но так сладко и крепко, что я решаю не будить его. Назначенный мною боец с готовностью и охотой остаётся, быстро спускается вниз и прыгает в глубокий снег. Мы снова трогаемся в путь, наполняя лес неимоверным грохотом.

“Зачем приказал мне майор оставить здесь маяк? — думал я. — Других дорог, кроме этой, ещё не укатанной просеки, не видно, по-видимому, нет их. Следы движения по этому пути — отдельные бойцы, вероятно, пехотного батальона связи, повозки с лошадьми, волокуши — на каждом шагу. Зачем же маяк, спрашивается? И на какой срок он поставлен? Мне это задано не было, и я не оговорил срока оставленному. Немудрено так и потерять человека. Нет, не нужен здесь маяк”, — прихожу я в думах своих к твёрдому убеждению. Приказание это, на мой взгляд, необдуманно, лишнее.

В душе откладывается какая-то печальная, горькая льдинка...

После очередной непродолжительной остановки наши тягачи, ломая мелкий молодой осинник, разъехали по целине в разные стороны от дороги. Убедившись, что дальше двигаться наши пушки будут не скоро, я выпрыгнул из кузова в глубокий снег. Лейтенант Юшин продолжал безмятежно спать, придавив головой чью-то ногу, артиллеристы его орудийного расчёта, глухо переговариваясь, ворочались, как котята в корзине, на вещевых мешках в кузове трактора.

Я огляделся. Кругом — сплошной лес. Высокие многолетние сосны, вперемежку с низкорослым осинником и молодой берёзой. Снега — в добрую половину человеческого роста. Никакого намёка на наличие хоть поблизости открытой полянки, нужной для установки пушек, — для оборудования огневой позиции, выражаясь по-артиллерийски. Издалека, откуда-то справа, доносилась трескотня автоматчиков, перебиваемая то длинными, то короткими пулёмётными очередями. Навстречу мне шёл возбуждённый и увлечённый работой наш молодой помкомбатр Трофименко.

— А тебя с разведчиками командир батареи дожидается, — обратился он ко мне, — собирается идти на передовую!

— Если я не буду знать, где и когда он будет меня дожидаться, то он может ожидать без надежды меня вовремя увидеть, — проворчал я, — ты скажи мне лучше, где будет наша огневая позиция, где думаешь устанавливать пушки?

— Здесь, — отвечал Трофименко, неопределённо махнув рукой.

Я не стал спорить с ним, хотя в душе сомневался в возможности стрелять из пушек через такие высокие деревья.

Рассчитывать величину наименьшего прицела было бесполезно — достаточно было поглядеть на деревья, чтобы убедиться в том, что отсюда стрелять наши пушки не могут.

— Где командир батареи? — спросил я Трофименко.

— В километре отсюда. По дороге, — отвечал он.

Собрав своих уже спустившихся с трактора разведчиков, я двинулся вдоль дороги. Шли медленно, гуськом, с трудом вытаскивая ноги из рыхлого глубокого снега. Отойдя от тракторов метров триста, мы увидели на дороге безнадёжно застрявший в глубоком снегу пикап начальника штаба лейтенанта Колбасова. Двое краснофлотцев раскачивали машину, шофёр давал газ в силу всех её, по-видимому, способностей, колёса вертелись, как пропеллер самолёта при заводке, однако машина с места не двигалась. В ответ на направленные к нам призывы шофёра о помощи мы приложили совместные, но довольно недружные усилия, и после нескольких минут столь же шумных, сколь и бесплодных стараний, оставив пикап, пошли дальше. Не пройдя и километра, у поворота дороги под прямым углом вправо, мы нашли командира батареи, стоящего в группе разговаривающих командиров, среди которых я узнал командира нашего артдивизиона Фокина и начальника артиллерии бригады майора Сорокина.

Подойдя к командиру батареи, я доложил ему о своём приходе. По воинскому уставу, моему обращению к командиру батареи должно было предшествовать обращение за разрешением разговора к старшему из присутствующих начальников — в данном случае к майору. Каждое из обращений должно было сопровождаться приложением руки к головному убору. Я не сделал ни того, ни другого. Здесь это было бы лишним. Майор пересыпал свою речь длинными очередями ругательств, капитан Фокин стоял с видом побитой собаки, заискивающе махающей хвостом перед своим хозяином.

— Ты следуй всюду за мной! — успел сказать мне командир батареи, после чего вся процессия — человек десять, возглавляемая майором, с моими разведчиками, замыкающими колонну, двинулась вперёд.

Опять проваливаешься в снег чуть ли не по колено, стараешься ступать в след впереди идущего. Я шёл сравнительно налегке: с левой стороны — полевая сумка, с правой — бинокль и наган под шинелью, даже под кителем — штука совершенно бесполезная, если учесть, что китель, меховой жилет и шинель, надетые сверху нагана, были заключены в белый маскировочный костюм, туго затянутые тесёмки которого не допускали извлечь содержимое из карманов шинели.

Шли долго. Дороге, казалось, конца не будет. Ребята мои обливались потом, тем более что, кроме своей личной винтовки, почти каждому досталось нести по автомату — ППШ, принадлежащему какому-нибудь из командиров. Последние все были вооружены ППШ, однако транспортировку личного оружия сочли возможным возложить на рядовых, подчинённых. Мне, к счастью, ничего не досталось, однако выбивался из сил я не менее других и к финишу пришёл в самом хвосте колонны.

Отойдя километра три от поворота — пункта нашего отправления, дорога стала разнообразиться: навстречу стали попадаться раненые. Бледные, с забинтованными руками, они шли большей частью поодиночке, тяжело передвигая ноги, ели снег, собирая его на рукавицы масккостюма. Других везли в белых лодках-волокушах с впряжёнными в лодки замученными лошадёнками. Разные попадались: и лежащие на спине, с безмятежно-спокойным выражением на лице, с устремлёнными в небо глазами, и стонущие, с искривлёнными от боли лицами, и мертвенно-бледные, собирающиеся к скорому, по-видимому, переселению. Больше всего меня возмущало в дороге отношение к своему делу сопровождающих лодки с ранеными ездовых-санитаров. Дрова, кажется, и то следовало бы везти аккуратнее! Как правило, ездовой шёл впереди, ведя под уздцы лошадь, или сбоку, совсем в этом случае ею не управляя. Лодки цепляли за пеньки наспех срубленных деревьев, ветки хлестали раненых. Зачастую лодки швыряло из стороны в сторону, чуть-чуть не переворачивало. А ездовые, не обращая внимания на это, шли и шли, временами покрикивая: “Дорогу! Раненый!” Поскорей бы и подальше от передовой — вот что чувствовалось в этом движении.

По обеим сторонам дороги стали попадаться шалаши, наспех сооружённые из еловых веток, около них группами стояли краснофлотцы и красноармейцы, чёрные и серые шинели, многие без маскировочных белых костюмов. Рядом с некоторыми шалашами лежали беспорядочные кучи цинковых ящиков с винтовочными патронами, коробки с пулемётными лентами, лодки-волокуши с пулемётами — пустые и нагруженные чем попало. Около одного из шалашей стояли несколько девчонок-санитарок. Многих я знал ещё по Москве, и вместо приветствий мы почему-то внимательно и серьёзно молча смотрели друг на друга, как бы удивляясь встрече в этой обстановке. Тут же на снегу они делали перевязки раненым, поблизости стояли несколько лошадей с санями и волокушами.

Теперь трескотня пулемётов и автоматов била в уши, была где-то совсем рядом. Лес заметно редел, становилось светлее,

узкая импровизированная дорога-просека становилась всё шире и шире. Мы выходили к опушке.

Вот и опушка! Мы остановились. Впереди полянка метров пятьдесят шириною, за ней — снова лес, но уже низкий, молодой и довольно редкий ельник.

“В таком лесу много маслят бывает”, — подумалось мне почему-то.

Рядом с нами зажужжали пули. Мы, как по команде, опустились в снег. Только тут я увидел среди ельника лежащих и ползущих краснофлотцев в белых маскостюмах, которые куда-то вперёд стреляли. Пули продолжали свистеть над нашими головами.

“В леске идёт бой, это и есть передовая”, — первый раз подумалось мне, и я, инстинктивно припав к снегу, пополз в сторону, намереваясь укрыться за стволом большой толстой сосны.

Благополучно до неё добравшись, я уселся на её корни, укрывшись за стволом, и, почувствовав вдруг усталость и большое желание есть, решил закурить и оглядеться. Мои разведчики тут же подползли ко мне и устроились в моих ногах, прикрывая друг друга, сколь это было возможно за сосною.

— Лучшее по безопасности место, бесспорно, у меня, — пришло мне на ум, — однако куда я, туда и мои бойцы полезут, — напросился второй вывод.

— Товарищ лейтенант, а кто из наших ведёт бой? — спросил меня разведчик Смирнов, приподнявшись и наблюдая за боем.

— Второй батальон в бою, — ответил я спокойным и уверенным тоном, нимало не колеблясь, хотя основанием для этого ответа имел лишь виденных мною знакомых санитарок, которые, как я знал, были приданы второму батальону.

— А как называется эта деревня? — продолжал допытываться Смирнов.

На этот вопрос я не мог ответить, да и деревню-то, по правде говоря, не заметил. Она была влево от нас, за лесом, в полутора примерно километрах. На поляну выходили занесённая снегом изгородь из тонких берёзовых жердей и два-три стоящих на отшибе сарая.

Мы закурили. Чтобы извлечь табак из кармана шинели, мне пришлось распустить тесёмки у маскировочных брюк, и только после этого, да и то с чужой помощью, извлёк из заправленной в брюки шинели заветную, ещё в Москве служившую мне коробочку из-под грузинского чая с лёгким трубчатым табаком. В своём хорошеньком целлулоидном портсигаре я носил пачки тонкой папиросной бумаги и бинт. Прodelав все необходимые

манипуляции по извлечению коробки с табаком, портсигара, спичек, я наконец затянулся дымом. Высказав ребятам свое убеждение, что курение притупляет чувство голода, я услышал, что меня зовёт к себе командир батареи. Пули летали уже значительно реже, и я, поднявшись, подошёл к нему. Майор, капитан и другие командиры уже двигались обратно.

— Слушай! — сказал мне Калугин. — Я получил приказание поддержать артиллерийским огнём наступление пехоты, нашего второго батальона на эту деревню. (“Второй батальон! Значит, я не ошибся!” — подумалось мне). — Тебе нужно от наших пушек до этой опушки проложить телефонную связь, здесь у телефона развернуть одну радиостанцию, а вторая рация пойдёт с нами. Мы пойдём вместе с пехотой. Нужно будет связаться с командиром батальона. Я пойду сам. Ты тоже пойдёшь со мной. И разведчики тоже, — добавил он.

— А зачем эта двухэтажная постройка, — спросил я, — сначала радио, потом телефон... Не проще ли оставить одну радиостанцию прямо на огневой позиции, чтобы она непосредственно от нас принимала команды? Ведь это быстрее и надёжнее!

— Ну нет, — отвечал Калугин, — нужно беречь пушки. У немцев прекрасно поставлена служба радиопеленгаторных станций. Не успеешь передать все команды, как они засекут твою радиостанцию и узнают местоположение наших пушек. Или ты не подумал об этом? — немного насмешливо закончил он.

— Вряд ли у них есть здесь радиопеленгаторные станции, — усомнился я, скрывая под этим невольное смущение тем, что высказанное Калугиным простое соображение не пришло мне в голову.

— Делай так, как я тебе приказываю, — строго сказал Калугин.

— Есть, — отвечал я. — А как называется эта деревня, и дадите ли вы мне карту, и где наша огневая позиция? — залпом выложил я интересующие меня вопросы, видя, что командир батареи собирается уходить обратно.

— Карты даже у меня нет, — ответил Калугин, — название деревни этой я тоже не знаю, а огневая позиция будет недалеко отсюда, по дороге, по которой мы пришли сюда.

Я иду сейчас туда. А ты давай разворачивайся скорее!

— Есть, — снова вздохнул я, невольно вспомнив о пустом желудке и усталости в ногах. Медленно и тяжело переступая, командир батареи пошёл по дороге назад в лес, я же побрёл к своим разведчикам.

Когда я подошёл к ним, то застал двоих уже спящими.

Командир отделения разведки Козлов мирно похрапывал, расположившись в снегу под сосною. Разбудив Козлова, я передал им содержание разговора с командиром батареи и тут же послал двоих к тягачам и пушкам, чтобы передали командиру отделения связи Умнову моё приказание о прокладке телефонной линии и о направлении ко мне радистов с походными радиостанциями. Для себя я нашёл лучшим остаться под сосной в ожидании прихода связистов и командира батареи. Да и слишком велика была усталость: одно воспоминание о проделанной дороге тяготило!

Время шло. Мы сидели под сосной и тихо беседовали. Опушка леса тем временем постепенно наполнялась подходящими красноармейцами в серых шинелях, в большинстве своём без маскхалатов. Вид у них был далеко не боевой: рваные, замученные, в разношёрстном обмундировании, доходившем даже до шапок не военного образца, они представляли шумное скопление людей, не похожее на регулярное войско.

— Откуда вы? — спросил я подошедшего к нам красноармейца.

— Из третьего батальона одной с вами бригады, — отвечал он, — стоим вот в резерве. Нет ли хлеба у вас? Третий день не евши!

Хлеба у нас, конечно, не было. Так вот оно что! Наша “морская бригада” становится разношёрстной! Что добрых восемьдесят процентов “моряков” нашей бригады никогда даже не видели моря, я знал ещё в Москве. Бригада была скоплением “безлошадных” танкистов, кавалеристов, пехотинцев, зенитчиков, шофёров, моряков, переодетых в чёрные шинели.

Однако того, что чёрных шинелей не хватило, и часть нашего сборного войска оказалась в ватных телогрейках и пехотных шинелях, в гражданских шапках и без маскхалатов, — этого я не знал.

Странно смотреть было на этих вояк, у которых подчас вместо шапок голова была повязана домашними шарфами и платками или выглядывала из башлыка совсем не военного покроя. Впрочем, и мы ушли от них недалеко, выглядели не блестяще.

“Все из одной нищей России вышли, в таком виде и в плен попасть просто стыдно”, — подумалось мне.

Февраль, однако, давал себя знать. Стоял мороз градусов на двадцать пять — тридцать. И вскоре, решив прервать наш отдых в снегу под сосною, мы направились той же дорогой, что и пришли, — обратно. В полукилометре от опушки попали в разгар работы наших артиллеристов, устанавливающих пушки, пилящих деревья для устройства поляны, с которой бы можно было стрелять.

Командира батареи я застал греющимся в кабине трактора у радиатора — единственном тёплом месте в этом лесу, сделал я тут же вывод. Подозвав меня к себе, он приказал установить радистам рабочие и запасные волны и позывные.

— Пусть наш позывной будет “К-01”, а позывной огневой позиции “К-02”, — сказал он, — с собой возмём Быкова и Лапшина и радиостанцию 12-РП, Колесова с радиостанцией 6-ПК оставь у телефона на промежуточной.

— Есть, — отвечал я, с трудом вписывая непослушными на морозе руками позывные и волны на бумажки, предназначавшиеся радистам.

— Не забудьте, что идти надо на лыжах! — крикнул он мне вдогонку.

Я шёл к своему взводу. Вернее, пытался собрать его, выуживая своих ребят по одному, по два из разбросанных на большом протяжении групп, кучек. Это оказалось делом нелёгким. С трудом отыскал командира отделения связи Умнова, отдал ему приказание о прокладке телефонной линии на опушку леса, об оборудовании там промежуточной телефонной и радиостанции, дал позывные для телефона, указания по расстановке телефонистов и охране линий.

— Товарищ лейтенант, — обратился он ко мне, когда окончилась деловая часть разговора, — скажите, пожалуйста, где мы находимся? У Новгорода, что ли, или по направлению на Валдай? Карту я примерно географическую знаю, а вот куда нас завезли — совершенно себе не представляю!..

— Ничего не смогу, пожалуй, ответить тебе, — с горечью сказал я Умнову. — Меня тоже с направлением нашего движения не знакомили. Старался сам следить по компасу. Ехали всё больше на север. Как будто бы направление на Старую Руссу, однако далеко ли мы от неё, в пяти ли или в ста километрах, — ей-ей, не знаю. Нет у меня также местной топографической карты!..

Поговорив ещё на тему о том, что вот уже темнеет, а мы с утра ничего не ели, я расстался с Умновым и пошёл искать радистов. Их вскоре нашёл, разговор с ними имел аналогичный разговор с Умновым. Труднее было собрать своих разведчиков. Те успели далеко в подошедший обоз пробраться!

Под древней Хмели

Стемнело, когда мы после мучительной, по-видимому, не для одного меня и непривычной процедуры по выбору, подгонке и надеванию лыж двинулись, наконец, в путь. Впереди шли командир батареи, радисты с радиостанцией и разведчики. Снова знакомая опушка, пересекая полянку... Вот и лесок! Стрельба значительно удалась, но бой, как можно было предполагать, продолжался.

Вошла луна. Начиная с поляны, всюду видны были следы недавнего боя. В громадном количестве валялись там и сям выброшенные из сумок противогазы, целые и поломанные лыжи и палки, рассыпанные патроны, каски, и даже попадались воткнутые в снег винтовки. Вот и трупы. В белых маскировочных костюмах. Это наши. Залитые кровью, изуродованные лица. Разбросанные руки и ноги. Многие уже босые. Валенки стащены. Вот лежит труп знакомого мне младшего лейтенанта, командира взвода из второго батальона. Он в чёрной шинели. Нарукавные нашивки, как и у меня... Одна средняя... Грудь разворочена разрывной пулей. Сапоги сняты. В карманах явно кто-то копался. Почти полураздет. Это стаскивали меховой жилет. Полностью не сняли. Или помешал кто-то, или руки уже окоченели... А вот и немцы! Их трупы большей частью в кустах или у деревьев. В хромовых сапогах, если сапоги не сняты, в коротких тёмно-зелёных куртках, таких же брюках, пилотках... Высокие, стройные, с длинными, немного острыми носами, с тонкими ноздрями, белокурые, много рыжих, с большими вьющимися волосами. Лица умные, но хищные. Через три дерева на четвёртое труп убитого снайпера-немца. Однако соотношение трупов не в нашу пользу. Один к пяти, даже к семи, пожалуй.

Снег окрашен кровью весьма обильно. Идём, лавируя на лыжах, среди деревьев и трупов, прокладываем лыжню по красному, пропитанному кровью снегу. Идём медленно и молча. Вглядываемся в каждое дерево, каждый кустик. При свете луны всё кругом кажется чудовищно ужасным. В груди тяжесть, смятение. А стрельба становится всё ближе и ближе... Навстречу начали попадаться наши пехотинцы — “моряки” второго батальона. У многих маскировочные халаты забрызганы кровью. У иных на спине большой горб: это вещевой мешок под масккостюмом. Однако большинство вещевых мешков валяются в снегу, так же как брошенные противогазы, подсумки, лыжи, палки, рассыпанные патроны. Из моих разведчиков двое уже бросили лыжи. Что скажешь? Кругом лыж так много...

Мы идём краем опушки, вдоль деревни. До неё метров восемьсот, может быть, тысяча. Дома, сараи, изгороди выделяются тёмными пятнами на белом, освещённом луною фоне. Однако это освещение нашего противника, видимо, не удовлетворяет. Регулярно, через каждые пять минут из деревни взлетает в воздух осветительная ракета. Медленно горя и опускаясь, она освещает и поляну, и тёмный лес, кишаший народом. Проходим мимо пулемётчиков, сидящих на снегу рядом со своими волокушами. Это резервная рота. Большинство спит прямо на снегу без всякой подстилки. Попадаетея несколько лошадей, замаскированных еловыми ветками. Это боепитание. Рядом беспорядочными грудами лежат “цинки” с патронами, деревянные ящики с зажигательными бутылками, с минами, коробки с пулемётными лентами. Двигаемся всё дальше и дальше. Трупов и брошенных батальоном “трофеев” становится всё больше и больше. Командир батареи справляется у встречных краснофлотцев, где найти командира батальона.

— В лощине, в километре отсюда, — отвечают они.

— Ещё километр! — думается с тоскою. Спускаемся в лощину. Она идёт в лесу вдоль опушки. Потом сворачивает куда-то вправо. Из неё уже деревни не видно. Довольно глубокий овражек. По дну его уже протоптана тропка. Снимаем лыжи. Это удовольствие: здорово они нас измучили. Ещё двое моих ребят втыкают в снег свои лыжи. Это радисты. У них усиленная нагрузка. У Быкова на спине — приёмник и передатчик, у Лапшина — упаковка питания. Я молчу, но продолжаю тащить свои, поминутно цепляя ими за кусты и деревья. Вот, кажется, и финиш! Лощина обрывается. Слышатся шумный говор и оживление. Это резиденция командира батальона, командный пункт командира батальона, место, с которого ничего не видно, но которое сравнительно безопасно, к которому протянут полевой телефон, связывающий его с тылом, и на котором находятся связные командиров рот, курсирующие от передовой до командного пункта. Обстановка на передовой линии узнаётся командиром батальона через посредство связных, приказаня на передовую подаются через них же, телефон используется для донесений.

Мы остановились у небольшой ёлки. Кругом группами стояли и лежали красноармейцы. “Передний край” был, по-видимому, наверху, стоило только подняться вверх по образовавшимся снежным ступенькам.

Батальон огня не вёл. Бой уже прекратился, немцы отступили в деревню, заняв там на заранее подготовленных рубежах оборону, и теперь огрызались, периодически пуская по нашему

переднему краю длинные очереди из пулемётов и автоматов, изредка ведя интенсивный обстрел поляны из ротных миномётов. До лощины мины не доставали (или предварительно немцы её не пристреляли?!), пули жужжали над нашими головами. Мы полулежали в изнеможении на ледяной дорожке, ожидая возвращения командира батареи от командира батальона, куда он один отправился. Немногие оставшиеся у нас лыжи воткнули позади нас в снег.

Вскоре Калугин вернулся.

— Развёртывай радиостанцию. Сейчас открываю огонь, — сказал он отрывисто, не вдаваясь по обыкновению в подробности, по чему и откуда стрелять мы будем. Да мне не до них было. Я чувствовал, что промёрз и устал сильно. Опустившись рядом с Быковым на колени, я смотрел, как он ставил штыверную антенну, подключал питание, фиксировал волны. Готово! Радиостанция, наконец, развёрнута. Стоящие поблизости краснофлотцы грозным шёпотом говорят нам погасить свет — маленькую фару-лампочку. Объясняем им, что ночью без фонарика установить приёмник невозможно. Узнав, что мы артиллеристы, собираемся открыть огонь по деревне, и что это наша радиостанция, они успокаиваются, даже, больше того, смотрят на нас с удовлетворением, почти с почтением.

В сущности, демаскирующая роль осветительной лампочки нашей радиостанции сильно ослабляется странным поведением окружающих нас пехотинцев: они курят, зажигают спички и подчас говорят очень громко. В общем, ведут себя очень недисциплинированно. В глубине души я начинаю опасаться, как бы эта недисциплинированность и дурацкое поведение у переднего края не направили бы стрельбу германских миномётов по нашему скоплению в лощине. Овражек-то этот, безусловно, хорошо немцам известен! И чем навязчивее становится эта мысль, тем более ощущаешь в себе какую-то неприятную встревоженность. Я лежу не шевелясь на утоптанной снежной дорожке, пальцы на ногах сильно коченеют, несмотря на то, что двигаю я ими всё время достаточно интенсивно, то останавливаясь на основательной небезопасности места нашего расположения, то торопливо следя за движениями радиста Быкова, уже надевшего наушники и приступившего к настройке радиостанции.

— На приём или на передачу работать, товарищ лейтенант? — спрашивает меня Быков, выключая, наконец, действующую на нервы лампочку.

— Давай на приём, — отвечаю я, думая о том, что хорошо не знаю, с приёма или с передачи начинать, и чувствуя лишь

нервное нетерпение. Врывающиеся из эфира свисты и завывания доносятся из наушников до моего слуха и действуют как-то успокаивающе: питание не село, значит, радиостанция исправна. С трудом отодвигая и заворачивая на левой руке мешающий мне рукав масккостюма, смотрю на часы: уже первый час ночи. Морозно. Луна зашла. Всё чаще взвиваются в воздух осветительные ракеты, инстинктивно заставляя прижиматься к земле и забыть про движение окоченевшими на морозе пальцами. Проходит несколько минут томительного ожидания.

— Ну, как? Скоро свяжетесь? — торопит Калугин.

— Товарищ лейтенант, Колесов молчит — я его не слышу! — уверенно шепчет мне Быков.

— Вызывай микрофоном, — приказываю я.

Щёлкает переключатель. В тишине, прерываемой свистом пуль и хлопаньем наверху мин, раздаётся твёрдый и отчётливый молодой голос Быкова:

— Ка-ноль два, Ка-ноль два, я Ка-ноль один, я Ка-ноль один, вас не слышу, вас не слышу, отвечайте для связи, отвечайте для связи, как меня слышите, приём, приём...

Снова щёлкает отпущенный разговорный клапан тангенты. Снова идут минуты, тягостные и длинные.

— Не слышу, — говорит Быков.

— Вызывай снова! — бросаю я, чувствуя, что ужас пронизывает меня и обжигает крепче мороза.

— Ну, как? — спрашивает подошедший Калугин.

— Я Ка-ноль один, я Ка-ноль один... — взволнованно, но звонко передаёт Быков в трубку, — даю для настройки, даю для настройки, раз, два, три, четыре, пять, шесть, я Ка-ноль один, как меня слышите, как меня слышите, приём, приём...

Опять ожидание, и никаких результатов: в эфире спокойно... Длинный поток ругательств по моему адресу — это неистовствует Калугин. Я почти не слышу его. Я слишком ошеломлён происходящим.

— Не знаешь, что ли. За это расстрел, — доносится до меня его голос как будто откуда-то издалека. — Так и знал, так и предчувствовал, что подведут! Эх!... — Калугиным овладевает злобное отчаяние.

Вывать у Быкова трубку, вызывать самому...

— К чему это? Театральный жест, и только, — думаю я, — Быков прекрасный радист, каждое его движение я вижу, уж, конечно, как радист я хуже и неопытнее его в тысячу раз, больше того: моё неослабное внимание за каждым его движением, за каждым производимым им переключением есть не что иное как создание видимости контроля, маскировка своего незнания. И это

не новость для меня. Это логичный результат нашего “ученья” в московских Хамовнических казармах... Однако надо что-то предпринимать, надо действовать...

— Ка-ноль два, Ка-ноль два, — снова врывается голос Быкова, однако в нём я улавливаю унылые, даже отчаянные нотки.

— Слушай, Быков, — говорю я ему, чувствуя, что какое-то тупое молчаливое отчаяние и какое-то каменное спокойствие овладело мною, — давай думать последовательно: в чём же дело? Или Колесов не развернул почему-либо свою радиостанцию, или она неисправна, или, наконец, неисправна наша...

— Моя радиостанция исправна, она работает, я слышу позывные Москвы... — с жаром перебивает меня Быков.

— Постой! Не торопись, давай проверим... зажги фонарик, я хочу проверить настройку антенны, — заканчиваю я, снова с болью думая о бесполезности, никчемности моего невежественного контроля.

Быков покорно присоединяет фару-лампочку на гибком шнуре. Осторожно прикрывая её рукой для светомаскировки, проверяю фиксацию волн на приёмнике и передатчике. Вернее, делаю вид, что проверяю: всё равно без очков ничего не вижу, а очки далеко, чуть ли не в кармане брюк. Лезть за ними — пальцы замёрзли окончательно.

— Как будто всё правильно, — говорю я, слушая в наушники свисты и морзянку на ближних волнах.

— Правильно, всё правильно. Это у Колесова радиостанция не работает, — уверенно и печально отвечает Быков.

Калугин полулежит на снежной дорожке. Он кончил уже, кажется, ругаться. Голова с невесёлыми, видно, мыслями приникла к самому снегу...

— Товарищ лейтенант, — окликаю я его, — разрешите послать на промежуточную, к Колесову, двух разведчиков с приказанием немедленно связаться с нами, работать непрерывно на приём. Я не понимаю, в чём дело. У нас здесь всё в порядке. Радиостанция исправна. Может быть, Колесов спит там.

— Дай мне связь, делай, как знаешь, — отвечает Калугин, обернувшись и глядя на меня в упор маленькими недобрыми глазами и почти не разжимая зубы, что бывает с ним каждый раз, когда он злится. — Дай мне связь, вызывай, вызывай, — повторяет он.

Я вздохнул. Мои разведчики зашевелились.

— Пошлите меня, — шёпотом просят они. Понимаю — холодно. И бегать нельзя. А в движении согреешься всё-таки. Выделяю двоих. Тут же уходят. И лыжи не берут с собой.

— Ка-ноль один, я Ка-ноль один, — слышится унылый голос

Быкова.

Не до него. Мороз пронял. Тело дрожит, как при сильной лихорадке, пальцы на руках и ногах сильно онемели: щиплет чуть не до слёз. Снова взглядываю на часы: уже три часа, на четвёртый час ночи перевалило.

Послав на промежуточную станцию к Умнову, я несколько успокоился. “Что-нибудь да сделают”, — думал я. Тем более, что наставлял я их и снабжал приказаниями Умнову и Колесову не только пространно, но и в достаточно сильных выражениях. Правда, к устрашениям и ругательствам я не прибегал. Больше того, чем чаще слышал я от своих начальников, в особенности от командира дивизиона и от Калугина, направленную по моему адресу матерщину и крики “застрелю! разжалую!”, тем упорнее подымался во мне какой-то дух противоречия, появлялось упрямое желание не переадресовывать эти ругательства и крики моим подчинённым, а наоборот, чтобы пропорционально нарастающему озлоблению на меня начальства нарастало спокойное и чуткое отношение моё к подчинённому. Замечу без излишней скромности, что в этом я, кажется, несколько преуспевал. Доказательством этому являлось повсеместно наблюдаемое мною заботливое, внимательное и услужливое отношение ко мне краснофлотцев. Я написал “повсеместное” потому, что эту теплоту без заискивания или подобострастия я встречал не только в своём взводе или в нашей батарее, но и у соприкасавшихся со мной рядовых из посторонних воинских частей или подразделений. И это радовало меня. Моё упрямство побеждало. А совесть была чиста. Я знал, что добросовестно несую службу, добросовестно выполняю всё, что мне приказывают. Правда, иногда слишком велики были пробелы в моих познаниях сухопутного артиллерийского дела, отсутствовали элементарные практические навыки, однако в сравнении с окружавшими меня “перлами” командного состава я не так уж выделялся. Да и был ли я виноват в этом? Конечно, я почему-то уверен, что в германской армии не приходится затрачивать столько усилий, чтобы “гонять” рядовой и даже командный состав на занятия по изучению техники, вооружения и тактики. Вряд ли там солдатская и офицерская масса так же, как у нас, инертна, “зевающа” и неподатлива на личное военное совершенствование. Наши не только рядовые, но и командиры в своём абсолютном большинстве предпочитают провести свободные часы, занимаясь ковырянием в носу пальцами, чем чтением литературы, не то что специальной, военной, технической, а хотя бы просто занимательной — “руманов”. “А он неинтересно пишет”, — сказал мне как-то один молодой лейтенант, закрывая только что

залпом прочитанный “Сборник рассказов” Льва Толстого.

Да! Пишу эти строки, а так хочется “лейтенант” поставить в кавычках! А уж боже упаси взять перо или карандаш в руку — этой доблести я среди командиров, признаюсь, не видел! Письмо домой — и то не больше пяти-шести не слишком длинных фраз напишет! Можно ли, находясь в подобном окружении, углублять и расширять свои знания?! Признаюсь, очень не легко это! Каждый раз, когда я берусь за карандаш, чувствую, что втыкаю в свой петушиный хвост павлиньи перья. Это небезопасно вдобавок!

Итак, отправив своих разведчиков, я несколько успокоился. Помимо указаний радисту Колесову я передал им приказание Умнову немедленно приступить к прокладке сюда полевой телефонной линии. Если радиостанция неисправна, то пусть телефон выручает. Это хоть наверняка будет! От наших пушек до радиостанции Колесова было метров пятьсот, ну, по лесу до передовой мы шли километра четыре-пять. Кабеля должно хватить! С Москвы брал семь тысяч метров! И весь он у меня проверен, прозвонен, обрывов быть не может, а сама прокладка линии не такое уж большое дело! Ну, пусть два часа, пусть три, пусть четыре пойдёт на прокладку линии, ну, к рассвету хоть, а дадут огонь! Только бы приказ выполнить! И разведчикам своим я приказал тоже сопровождать телефонистов, показать им дорогу, привести к нам, содействовать их работе, охранять их.

Думы мои прервал командир батареи.

— Ну, чего же сидишь? — зашипел он, — сползал бы на передовую, узнал бы от командиров рот, по чему нам стрелять нужно, разведал бы огневые точки противника. Вернёшься — мне расскажешь!

Я охотно поднялся. О возможности быть раненым или даже убитым я совсем не думал, а подвигаться, чтобы хоть немножко отогреться, хотелось очень сильно, да и любопытство разбирало: что наверху делается, и что видно оттуда?

Поднялся. Осторожно пригибаясь и цепляясь за голый кустарник, стал подниматься по обледенелому скату вверх из овражка. Удивительно чёрной стала ночь! Темнота абсолютная! И даже ровная белая пелена снега не помогает!.. Снова взвилась вверх ракета. Горит, как фейерверк! К снегу я уже плотно прижался, однако успел заметить на ослепительном белом фоне грязные островки масккостюмов: это наши краснофлотцы. Медленно ползу к ним, перебирая поочередно руками и ногами по глубокому рыхлому снегу. Ползти очень тяжело, так что, за исключением конечностей, согреваешься быстро.

— Какая рота? — спрашиваю я шёпотом, натываясь на лежащую кучку краснофлотцев.

— Пулемётный взвод, — отвечают они. Ползу дальше.

— Где командир вашей роты? — спрашиваю я уткнувшегося в снег краснофлотца. Он не отвечает. Начинаю трясти его за ногу. “Мёртвый, что ли?” Наконец, зашевелился. Спит, оказывается. А над головой то и дело с визгом, иногда с каким-то стоном проносятся пули. Почему звук, вызванный их полётом, имеет множество разных интонаций?

Разбудив краснофлотца, повторяю ему свой вопрос.

— А кто его знает, — говорит он.

— Что ж ты спишь, — говорю я, — в такой мороз?! Ведь замёрзнешь!

Он уже всхрапывает во сне вместо ответа.

В деревне слышатся глухие далёкие удары. Как будто кто-то дрова колет! Проходят секунды. Вдруг впереди меня метрах в пятнадцати поднимается красный огненный столб. Одновременно резкий, оглушающий звук взрыва прижимает к земле. Второй, третий, четвертый. Взрывы следуют один за другим. Это мины. Сердце бьётся часто-часто. Как молоточками стучит кто-то. “Четырнадцать, пятнадцать, — считаю я, — сейчас должно прекратиться: из деревни перестали доноситься тупые удары — значит, германские минометы замолчали!”

Когда это я начал ползти обратно? (“Должно быть, инстинктивно...” — думаю я, заметив, что разрывы мин ровно на сто восемьдесят градусов изменили направление моего движения). Приподнявшись насколько можно над снегом, стараюсь оглядеться. Справа лесок, спереди поляна, за ней деревня. Наша лощина сзади.

Вглядываюсь в темноту, стараюсь нащупать силуэты домов, определить до них расстояние. Пробираясь то ползком, то на четвереньках среди групп большей частью спящих краснофлотцев, держу путь к ложине, к тому кустарнику, цепляясь за который, я вышел на поляну. Вдруг почти у самого ската я заметил у одного из лежащих, но в бодрствующей группе, под неплотным прилегающим маскостюмом “капусту” морской командирской шапки.

— Товарищ лейтенант, — обрадовался я, — разрешите узнать, кто вы будете?

— Я начальник штаба батальона. А вы кто? — вглядывается он в меня, узнавая во мне среднего командира. Я назвал себя.

— Вы можете сейчас открыть огонь по деревне? — спрашивает он. Я объясняю ему, что сейчас мы не совсем готовы, так как нет связи для управления пушками, но она скоро должна быть...

— Известное дело! — говорит он, отворачиваясь от меня, и

бросаёт, уходя, куда-то в сторону: — Приходить нужно тогда, когда ваши пушки стрелять могут!

Я скатываюсь, вернее, съезжаю по обледенелому скату вниз в ложину. Снова заговорили германские миномёты. На этот раз ближе, почти над самой ложинкой. Краснофлотцы шарахаются в стороны, рассредотачиваются по снегу. В леске справа совсем близко над ложинкой неожиданно затрещали частые очереди германских автоматов. Пули проносятся по ложине.

“Кажется, никого не зацепило! Автоматчики! Неужели обходят? Однако должно же быть там наше сторожевое охранение!” — пронесётся во мне, когда я устало опускаюсь на снег рядом с командиром батареи. Он лежит неподвижно, но не спит: его маленькие глазки тяжёло и часто моргают заиндевевшими на морозе ресницами. Три моих оставшихся разведчика, пренебрегая опасностью, встали во весь рост и прыгают по дорожке. Они хлопают ногой об ногу, быстрыми движениями сводят и разводят руки.

“А как устаёшь всё-таки! И до чего бессмысленное и бесполезное путешествие совершил я сейчас!...” — думы мои невольно возвращаются к вопросу о том, какие удобные, портативные штуки походные радиостанции, и как в результате неразумной, поспешной подготовки их тактическая ценность и удобство свелись к нулю, наши хорошие новенькие радиостанции превратились в тяжёлый, ненужный балласт.

— Скоро связь будет? — прерывает мои мысли командир батареи.

Голос у него стал какой-то металлический. Что отвечать ему? Положение со связью он знает не хуже меня. Отвечаю ему, что я сделал всё от меня зависящее. В крайнем случае, когда-нибудь, а должны же приплестись сюда телефонисты со своим телефоном!

— Когда же будет связь? — снова звучит металлический голос комбата. Смотрю на часы. Уже седьмой час утра, оказывается. Зубы стискиваются. Что же делать?

— Разрешите мне самому идти на промежуточную, — предлагаю командиру батареи.

Разведчики сразу подходят ко мне.

— Возьмите меня, товарищ младший лейтенант, — просится каждый по очереди.

— Иди! — роняет через несколько минут Калугин.

Беру с собой Петухова. Тут же отправляемся с ним в обратный путь. Из числа пяти моих разведчиков Петухов самый неудачный. Артиллерийское дело он не знает совершенно, устройство артиллерийских наблюдательных и измерительных приборов (буссоль, стереотруба) знает очень поверхностно,

практически работать на них не может, а главное — к приобретению военных знаний и навыков относится не только пассивно, но и с нескрываемой враждебностью.

— Что вы пытаетесь дурака выучить? Дураком был, дураком останусь! — говаривает он, когда я привлекаю его к занятиям. — Всё равно по азимуту ходить меня не выучите!

Дураком я его, однако, не считаю, недолюбливаю в нём невоздержанность языка, грубость и постоянную матерщину. Он очень громогласен! Высокого роста, косая сажень в плечах, лицо простое, крестьянское. А и ленив же, хитёр же! На еду лют, когда дело касается добычи продовольствия, проявляет исключительную ловкость и проворство. В прошлом он был в хозкоманде хлеборезом и не скрывал сожаления о старой специальности, явно без охоты переключаясь на боевую деятельность артиллерийского разведчика. Дураком он, повторяю, не был. Из-за этого я и решил взять его, должно быть...

Мы идём молча, медленно, с трудом пробираясь по опушке леса. Согрелись быстро. Даже ноги, и те в движении согреваются! Светает. Не то туман, не то какой-то белый пар стоит над землёю, так что в двадцати шагах уже ничего не видно. Опушка довольно извилиста, дорогу как следует не удалось запомнить, и вскоре (этого я больше всего боялся!), после значительных, но редких переглядываний, я убеждаюсь, что мы потеряли ориентировку.

— Знаешь, нам пора сворачивать вправо, — чуть не в третий или четвертый раз говорю я Петухову, остановившемуся и внимательно рассматривающему многочисленные следы и лыжни, стараясь, по-видимому, по ним восстановить в памяти маршрут нашего первоначального следования.

— Не рано ли? Давайте пройдем ещё немного! — отвечает Петухов, и по его испуганному, вдруг осунувшемуся лицу я вижу, что и он растерялся. Бредём дальше медленно и напряжённо.

— Нужно сворачивать! — вслух решаю я. Петухов молчаливо соглашается.

Теперь я иду впереди, держим между собою дистанцию метров в пять, останавливаемся... прислушиваемся... Дальше и дальше... Справа от нас слышатся шум и голоса. Это немцы работают в деревне. Пилят что-то... Слышен грохот падающих балок, вероятно, укрепляются... Кругом тишина могильная. Ветка на дереве не шелохнётся. Снег не осыпается с ёлки, и тем явственнее в тишине доносится оживление из деревни. Как шумно они работают!

— Не отставай! — кричу я Петухову, мне кажется, что останавливается и прислушивается он чаще меня. Правда, идти очень трудно, проваливаешься в снег всё время выше колена. И

эта жуткая тишина и мгlistый утренний туман ещё больше напрягают и без того туго натянутые нервы. Двигаемся медленно, медленно. Вдруг в одну очередную короткую остановку я услышал впереди себя совсем рядом произнесённую вполголоса на немецком языке фразу. Мы оба окаменели. Вряд ли чудесное превращение жены Лота произошло быстрее! Буквально шагах в десяти от нас, по-видимому, двое тихо разговаривали по-немецки. Туман скрывал их от нас. Столбняк наш длился, вероятно, какие-то секунды. Как мышь уходит под спокойным взглядом играющей с ней кошки, так и мы приниженно и бесшумно двинулись обратно в сторону леса. До него добрались благополучно и как-то исключительно быстро. Проблуждав ещё немного и ориентируясь далее исключительно по валявшимся трупам, мы вышли к шумной опушке, занятой красноармейскими шалашами.

— Пожалуйте сюда, товарищ лейтенант! — послышался голос Умнова, и через минуту я вползал уже в наспех сооружённый шалаш с разложенным костром посередине.

— Колесов! Вы с ума сошли! — вырвалось у меня первой фразой, едва я увидел у костра знакомую фигуру радиста Колесова в старой красноармейской шинели (он ведь был в “сером”!) с радиостанцией 6-ПК под боком.

В ответ он разразился длинной и бурной тирадой и в перерывы нескончаемого мата до меня доносилось, что он всю ночь сидел, то слушая, то безнадежно взывая в микрофон: “Ка-ноль один, Ка-ноль один...”, что его радиостанция явно неисправна, в чём неисправность — он определить не может, что ещё в Москве она “корпусила”, что он не спал трое суток, что третий день не ест ничего и всё на морозе...

Колесов говорил долго и кончил, странно всхлипывая.

Я лежал у костра, облокотившись и положив голову на снег, чувствовал смертельную усталость. В голове одна мысль: “Что же делать дальше?..” Спросил Умнова, когда он выслал телефонистов, и пошли ли сопровождать их посланные мною разведчики.

— Часа в четыре, в пятом, — отвечал Умнов.

Взглянул на часы. Боже мой! Уже десять, а разведчики и телефонисты ушли в четыре, а связи с Калугиным всё нет!...

Так вот оно, первое знакомство с фронтом! Какой-то сплошной кошмар! И когда он кончится? Или я только вступаю в полосу кошмаров, и это только начало?..

20-е февраля 1942 года

В раздумьи о причинах неисправности радиостанции 6-ПК и о необходимости как-то действовать я стоял на опушке у наспех сложенного из пушистых сосновых веток шалаша нашей промежуточной телефонной станции. Из леса вышел и подошёл ко мне комиссар батареи Зуяков. Я молча смотрел на него, предчувствуя неприятное объяснение. Он опередил меня, сказав, что всю ночь с помкомбатром Трофименко возился с этой проклятой рацией, что, вероятнее всего, сели батареи питания БАС-60, и что он уже давно направил связного к начальнику связи артдивизиона старшему лейтенанту Лапшёву с просьбой срочно заменить рацию или прислать новые анодные батареи.

— Ничего не поделаешь, надо ждать помощи от Лапшёва, — хладнокровно заключил Зуяков, узнав от меня о телефонистах, направленных на прокладку по лесу телефонной связи к Калугину.

— Что же мне делать? Пойду в лес искать своих телефонистов, — высказал я своё соображение Зуякову. Он тут же его одобрил.

— А как обстоит дело с питанием? Ведь пошли третьи сутки, как мы не ели, и НЗ уже давно съеден. Мои связисты и разведчики принимали последний раз пищу в деревне Жегалове, как по расстоянию, так и по времени далеко отсюда, — сказал я комиссару.

— Знаю, — ответил Зуяков, похлёстывая пушистой веткой по приставшему к голенищам снегу, — тут тоже ничего не поделаешь. Берите пример с наших пехотинцев. Воюют не чета вам, артиллеристам, сами же не третьи, а уже пятые сутки не ели. В общем, принимаем меры... Не подвозят продовольствие, и всё тут.

— Откуда не подвозят? — снова спросил я.

— С Горовастицы, — ответил Зуяков, — там основная продовольственная база. Оттуда продукты на машинах везут в Холмы, видел там санбат наш? А уж из Холмов на лошадях сюда... должны везти, да вот не везут что-то. С воздуха, подлец, бомбит дорогой.

— А где это вы задерживались, почему я с обозом раньше пушек прикатил в Большие Жабны, да ещё два дня простояв в Залучье и в Жегалове, — задал я вопрос Зуякову, заметив что он

против обыкновения не кричит, не угрожает, не матерщинит, а разговаривает доброжелательно и спокойно.

— Мы большой крюк сделали, — сказал Зуяков, — заходили под Молвотицу. Это крупный райцентр Новгородской области, он сейчас как остров в океане, занятый немцами. Нас просили дать огонь по Молвотице, поддержать наступление пехоты.

— И что же, стреляли?

— Нет, не пришлось. Кстати говоря, уже там выяснилось, что радиостанция Колесова не работает, неисправна что-то. Командир батареи ещё там срывал всё на нём, утюжил его.

— Почему же мне об этом ничего не сказали, — с удивлением и горечью проговорил я, глядя на Зуякова. — То меня командир батареи зачем-то обозом командовать назначает, а потом сам же ругает, говорит, что моё место не в обозе. То сам же оставляет при себе Колесова с радиостанцией, убеждается, что рация неисправна, однако не говорит мне ничего об этом, а потом ругает, почему нет связи. Я-то ведь Колесова с самой Горовастицы не видел, как забрал его к себе командир батареи, а радиостанцию 6-ПК с Москвы не проверял. В Москве-то она работала.

— Ничего тут не поделаешь, — повторил Зуяков. — Ты выбирай себе лучше лыжи, вон их сколько в снегу торчит, — выбирай палки, да и чеши в лес, разыскивай телефонистов наших, туда Стегин и Покровский пошли. Давай нам связь с Калугиным.

Выбрав лыжи с подходящим к моим валенкам креплением и дав необходимые распоряжения на промежуточной командиру отделения связи Умнову, я тронулся в путь. Опять в лес, через трупы, уже запомнившиеся, знакомые по старым, теперь уже укатанным лыжням. В отдельных, тоже запомнившихся местах лыжни политы чьей-то кровью — может быть, нашей, может быть, немецкой.

Трупы, трупы... Как много их, застывших, с неестественно подвёрнутыми руками и ногами или раскинувшихся крестом на снегу. Теперь их освещает яркое зимнее солнце, скупое пробивающееся через голые ветки высокого осинника и берёзок, через пушистые стройные сосны и ели. Мороз спал, должно быть, до градусов двадцати пяти. Кажется, что солнце пригревает, или это на самом деле так? Конечно же, пригревает, и февральский снег, пушистый, сухой и мягкий, искрится мириадами звёздочек.

Немного впереди, совсем близко, хлопнул одиночный выстрел. У большой сосны со стволом, раздвоившимся на уровне человеческого роста, как-то смешно подпрыгивал и махал руками, стараясь согреться, странного вида человек. Был он одет в поношенную красноармейскую серую шинель, плохо закрытую

основательно порванным маскостюмом, в дырявые валенки с торчащими из дыр портянками, голова была обвязана платком, поверх которого болтались неподвязанные уши гражданской шапки с потёртым рыжим мехом. Лица его давно не касалась бритва, отросшая щетина густо покрывала щеки до самых глазниц.

— Ты стрелял? — спросил я, приближаясь.

— Я, — ответил он, весело ухмыльнувшись, — да вот промахнулся, надо ещё разок попробовать.

Подойдя к дереву, он приложился к винтовке и начал стоя целиться. Тут я заметил, что в развилке ствола сосны у него закреплена винтовка. А по тропинке открытой поляны с мелким ельником, которая хорошо отсюда просматривалась, быстро двигались две фигурки в темно-зелёных куртках. Издалека они почти чёрными казались.

— Немцы!... — сказал я, думая, что ведь в первый раз вижу их на фронте живыми, если, впрочем, не считать тех, которых везли на автомашине навстречу нам, когда я двигался по большаку из Жегалова. В остальных случаях я наталкивался только на трупы немцев.

— Да, фрицы! — подтвердил боец и снова выстрелил. Немцы пригнулись, видно было, как они посмотрели в нашу сторону, сменили быстрый шаг на бег.

— Опять промахнулся! Какой прицел-то держишь? — спросил я, когда он снова перезаряжал винтовку.

— Прицел два.

— Что ты, милый! — сказал я. — Тут все триста, а то и четыреста метров будет.

— Чёрт с ними, — сказал он, снова отходя от дерева, начиная прыгать и греться.

— А ведь они уже пробрались в лес, — заметил я, наблюдая, как тёмные фигурки немцев, постепенно пропадая, совсем исчезли, скрытые лесной чащей.

— Да, просачиваются понемногу, — ответил этот странный снайпер. — Пришли связь рвать или засаду устраивают, нападают на наших.

— Тебя что же, нарочно здесь оставили? — спросил я.

— Зачем нарочно? Нет, сам фрицев стреляю. Занятно! — ответил он.

Оставив его, я отправился дальше, опять ориентируясь по знакомым трупам. Однако нетрудно было заметить, что дорога становится проторенной. Добавились лыжни, утоптался снег, а главное — провода, провода и провода. Иные идут по веткам, другие слева или справа от дороги, на разной высоте, по

молодняку, чаще же всего просто про снегу. Местами — большие клубки спутанных проводов. А вот идёт яркий красный телефонный провод. Это немецкий, должно быть, трофейный. Он выгодно выделяется на фоне серых стволов, сучьев и веток.

Вскоре я встретил своих бойцов — Стегина и Покровского. Это было на полдороге к лощинке, где оставил я Калугина и радиостанцию. Телефонисты беспомощно копошились в большом клубке проводов, о котором можно только сказать: и нарочно так не спутаешь! Увидя меня, они поднялись и живо подошли ко мне. Оказалось, что проложенная ими линия связи работать не стала, что они пошли обратно, выискивая место повреждения, но здесь натолкнулись на такое количество обрывов, на такую путаницу, что не могут и придумать, как же поступить дальше.

— Вы посмотрите только, товарищ командир, — говорили они мне, — здесь и лошади прошли, вон и от автомашины след, и сколько здесь линий связи, и чьи они — уму непостижимо. Такая паутина...

— Есть ли у нас ещё полные катушки? — спросил я.

— Вон, две с половиной только, — указали они на валявшиеся на снегу. — Все с собой взяли.

— Надо прокладывать на шестах или по деревьям, вести двойную линию, — говорил я задумчиво.

— А откуда кабель взять? Начнём сматывать — половину того, что было, соберём, — говорили они.

— Не половину, а в два-три раза больше смотать нужно. Понятно? — говорил я, соображая, что с имеющимся у меня запасом 7500 метров ПТФ здесь воевать невозможно. — Пойдемте к командиру батареи, от него проверять начнём.

Мы тронулись в путь, стараясь ориентироваться чуть не ощупью по проложенной ими телефонной линии.

Вскоре часть проводов вместе с лыжнями, следами волокуш, полозьев, утопавших в снегу людей и лошадей повернула куда-то вправо, в глубину леса. Мы продолжали упорно двигаться по старому, запомнившемуся направлению, однако ночного многолюдства совсем не было, никто не встречался нам дорогой. Добравшись до лощины, мы убедились, что, кроме брошенных и во многих местах оборванных проводов связи, кроме валявшихся на снегу противогазов, подсумков, касок, лыж и цинков с оставшимися патронами, там ничего и никого нет. Куда же ушёл батальон? Где Калугин? Где Быков с радиостанцией?

— Свертывайте связь, да не стесняйтесь пустые катушки прихватывать — вон в снегу валяются! — указал я. — Чтобы все потери в кабеле были восстановлены. Явитесь к старшине Умнову на промежуточную. Сам пойду искать Калугина, — и, оставив

телефонистов, я, скатившись с горы, стал пробираться обратно в лес.

Дойдя до того места, где провода и следы сворачивали вправо, решил повернуть и пойти в этом новом направлении.

Двигаясь, обгонял иногда отдельно бредущих пехотинцев, иногда лошадь, тянувшую за собой шлюпку со станковым пулемётом, цинки с патронами, коробки с пулемётными лентами.

Пройдя с километр, я увидел, что навстречу мне идёт на лыжах командир нашего артдивизиона капитан Фокин.

— Ну и денёк! Смотри-ка, красота какая, — и мороз, и солнце. Так и играет! — заговорил он, поравнявшись со мною, и остановился, наклонясь вперёд и опираясь подмышками на палки.

Я обрадовался встрече с капитаном. Тут же доложил ему о создавшемся катастрофическом положении с радиостанцией 6-ПК и об ужасающей паутине проводов связи.

В ответ на это капитан, по определению бывший в веселом настроении, сообщил мне, что второй батальон сделал бросок лесом километров на пятнадцать и вышел к деревне Избытово^[3]. Немцы, боясь оказаться отрезанными, освободили деревню Хмели и шоссе до Избытова.

— Вот что значит правильный тактический манёвр, — говорил он радостно. — А ты иди, разыщи Калугина — он ушёл со вторым батальоном. Откроем огонь по Избытову.

— А связь?

— Ну, конечно же, радиостанциями, — отвечал он. — Я пойду сейчас туда, к батареям, приму меры, чтобы все радиостанции работали. Давай, иди, — повторил он, и его длинные широкие лыжи, удаляясь, захлопали по лыжне.

Скоро большая, грузная фигура капитана скрылась в лесу.

Снова в путь. Сказочно красив занесённый снегом сосновый лес, освещённый ярким февральским солнцем. Стройны и неподвижны молодые редкие ёлочки и сосенки. Лыжни не накатаны, идёшь не быстро, внимательно поглядывая по сторонам. Кругом тишина и безлюдье.

Так мерил я километр за километром, временами останавливаясь, наслаждаясь воздухом, солнцем, лесом.

Внезапно впереди и слева от меня раздались оглушительные резкие хлопки разрывов. Всё чаще и чаще, всё ближе и ближе, трещат сломанные сучья деревьев. Это рвутся мины. Немцы начали обстрел из миномётов. Уже не думаешь о красоте леса. В душу заползает страх, однако иду дальше, прикидывая, на сколько ошибается немец, на сколько не долетают мины до нашей импровизированной лесной дороги.

Разрывы мин появились впереди, совсем близко. Переждать

или проскочить опасную зону? Пригнувшись и ускоряя максимально бег, вижу впереди людские фигуры. Кто это? Свои, конечно, вон лошадь на постромках с шлюпкой. Поравнявшись, вижу, что двое краснофлотцев уложили в шлюпку третьего, тяжело, видно, раненого. У него закрыты глаза, лицо мертвенно бледное, слабо стонет. Лошадь, цепляясь за кусты и проваливаясь по брюхо в снег, поворачивает волокушу с раненым в обратный путь.

— Миной задело? — спрашиваю я краснофлотцев. Те молчат, мотнув утвердительно головой и торопясь управиться с утопающей в снегу лошадью.

Пройдя немного вперёд и выйдя, кажется, из зоны обстрела, снова встречаю волокушу с лежащим в ней краснофлотцем. Масккостюм порван и залит кровью. Раненый молчит, рот его кривится, а широко раскрытые печальные глаза внимательно и серьёзно смотрят на меня. Просит пить. Сопровождающий лошадь ездовой останавливается, набирает на варежку снега, подаёт раненому. Останавливаюсь, уступая дорогу.

— Ничего, не падай духом, — говорю я раненому, — и выживешь, и отдохнёшь, и поправишься.

Он продолжает смотреть на меня внимательно, печально и серьёзно, из глаз выкатываются и ползут по щекам слёзы. Но лошадь дёргает, и волокуша, покачиваясь, уже плывёт по рыхлому снегу, оставляя за собой широкий двойной след^[4].

Вскоре мною стало овладевать чувство, близкое к отчаянию, родственное ему, во всяком случае. Лыжни и тропинки, если можно назвать тропинками глубокие следы от провалившихся в снег валенок, уходили и вправо, и влево, в разных направлениях. Куда же и зачем идти? Холода при ходьбе я не чувствовал, однако смертельная усталость и желание спать, спать и спать усиливались. Уже две ночи не спал я, двое суток без пищи. Хорошо, что табак есть. А кругом ни души, и солнце освещает так ласково белый, ослепительный снег!..

Решил отдохнуть. Снял лыжи. Возле совсем ещё маленьких, но отяжелевших от снега сосенок плюхнулся на снег, сделав себе какое-то подобие кресла, и, полулёжа-полусидя в снегу, слегка опираясь на локти и склонив набок голову, стал дремать. Лучи солнца косо падали на меня. Здесь было, вероятно, по мелколесью лесное болотце или полянка. В голове одна мысль: не заснуть бы навеки, надо спать по-заячьи — с поднятым ухом! Взглянул на часы: два часа дня. Подремлю-ка с час. Только один час! Бросив курить и осторожно высыпав в портсигар, а точнее, в коробочку из-под грузинского чая оставшийся в “чинарике” недокуренный лёгкий табак, я, наконец-то, извлёк глубоко

спрятанный под маскостюмом, шинелью и кителем наган, осмотрел его. Повертев барабан и отодвинув защёлку, убедился, что все семь патронов на месте. Запрятав револьвер за борт шинели, чуть высунул наружу рукоятку. Пустая кобура и ремни морского снаряжения остались под кителем.

Заснул я не крепко и не надолго. Резкий свист и разрывы мин снова повторились неожиданным шквалом недалеко от меня. Солнца уже не было, пробирал холод. Падал редкий пушистый снег.

Поднялся я, надел лыжи — и снова в неведомый путь. Благополучно пробежав зону обстрела, сместившуюся куда-то влево, и с любопытством разглядывая следы взрыва мин, — мелкие-мелкие, как циркулем очерченные воронки с чуть посеребрившим снегом, — я вскоре вышел к опушке. Впереди, метрах в четырёхстах, не больше, чернели на белом фоне рубленые сараи и примыкающие к ним заборы. Лыжни шли вдоль опушки, людей не было видно. Кто проложил эти лыжни — наша ли разведка, немецкая ли? Это ли то самое Избытово, про которое говорил капитан? Где батальон? Не десять, даже не сто человек батальон, почему же никого не видно? Не потерять бы дорогу обратно!.. Поле перед деревней чистое — сплошная снежная целина подходит к сараям, ни следов, ни лыжней.

Снова заговорили немецкие миномёты, на этот раз ещё яростнее. “Не буду искушать судьбу, — решил я. — Наступит темнота — совсем заблужусь и погибну в этом лесу”. Повернув с укатанной лыжни на свою, я пошёл обратно в лес, прикидывая, сколько примерно километров прошёл, вспоминая дорогу и запомнившиеся места.

Вот знакомая тропка. Те же трупы с раскинутыми руками и ногами. Ещё полчаса — и я у шалаша в промежуточной телефонной станции. Теперь этот шалаш кажется родным и безопасным местом. Дым курится над ветками, покрывающими шалаш. По просеке кто-то из наших бредёт, раскидывая ногами снег. Шагах в десяти от шалаша мирно стоит запряжённая в розвальни вороная лошадь. Ездовый возится в санях, укладывая сбившееся сено. Метель прекратилась. Солнце село. Морозит.

Вечер и ночь

Сняв лыжи и отряхнув с себя снег, я опустил на четвереньки и полез в шалаш через прикрытый ветками малозаметный лаз. Шалаш был довольно просторным, но передвигаться в нём вокруг горевшего посередине костра, искусно сложенного “в клетку” из полешек свежесрубленной молодой берёзки, можно было только ползком или на коленях. С боков шалаш был неплохо уплотнён снегом, сверху его зелёный купол тоже основательно уже снег присыпал, сделав проницаемым только для дыма.

Забравшись в шалаш, я дальше входа не двинулся: у костра на брошенном белым мехом вверх новеньком полушубке лежал командир нашей бригады Смирнов. С другой стороны костра разместились, подобрав под себя ноги, начальник артиллерии бригады майор Сорокин и командир артдивизиона капитан Фокин. Над радиостанцией работал, что-то лихорадочно присоединяя, старший лейтенант Лапшёв. Мои ребята — радист Колесов и Умнов с телефонным аппаратом — были оттиснуты куда-то в угол шалаша, в снег.

Полковник был мрачен и молча смотрел на горевшие с треском и искрами поленья. По серьёзным, натянутым лицам других я догадался, что была буря. На мой приход никто не обратил внимания, и, притаившись в углу у входа, я старался быть и дальше незамеченным.

— Готово, товарищ полковник, — сказал наконец Лапшёв, отодвигаясь от радиостанции и обращая к полковнику своё умное и интеллигентное лицо. Из эфира через наушники доносились свисты, морзянка и завывания.

— Открывайте огонь по Сосновке, — приказал полковник, не шевелясь, и добавил к приказу нецензурное окончание.

Колесов быстро выполз, надел наушники и взял микрофон. Умнов завертел ручку телефонного аппарата, вызывая батарею.

— Ка-ноль один, Ка-ноль один, я Ка-ноль два, — снова раздался голос Колесова. Прошли минуты.

— Калугин отвечает, — сообщил он радостно, — слышу Быкова хорошо!

Не переходя на морзянку, стали получать команды от Калугина.

— Первому оружию приготовить кашницу, остальным оружием огурцы, — дублировал Умнов по телефону на батарею полученные через Колесова приказания.

“Кашницей” — это было понятно — стали называть шрапнель,

“огурцами” — гранаты. “Значит, пристрелку Сосновки батарея проведёт первым орудием и шрапнелью, а на поражение перейдёт гранатами. Разумно!” — подумал я.

Наконец-то пошли команды: “Прицел шестнадцать... вправо шесть... трубка сто тридцать восемь”.

— Есть трубка сто тридцать восемь, — передавал Колесов в микрофон.

— Первому огонь... Первому огонь... — раздалось в шалаше.

Глухой удар орудийного выстрела раздался почти одновременно с принятой командой и со свистом снаряда, разрезающего над нами воздух. Наступили минуты ожидания. Умнов не отрывал от уха телефонной трубки, изредка вполголоса проверяя связь. Колесов сидел, поджав под себя ноги, с наушниками, надетыми на шапку.

— Ну. что там, чего молчит Калугин? — прервал томительное ожидание капитан Фокин.

— Не знаю, — Колесов стал щёлкать тумблерами и снимать наушники. — Посмотрите, товарищ старший лейтенант, — обратился он к Лапшёву, — рация молчит, опять испортилась.

Лапшёв быстро принял от него управление, но это не помогло делу. Снова вызовы, переключения, копанье в ящиках с передатчиком и питанием. Безрезультатно...

Кондовый русский мат и проклятья посыпались на голову командира артдивизиона Фокина, да и не на него одного. Досталось и Лапшёву, сильно побледневшему, и дрожащему Колесову. И все-то чувствовали себя прескверно, когда в крепкой ругани полковника прорывалось: “расстрелять надо”, “разжаловать”, “к ёлке приставить”.

Проклятья и брань полковника длились минуты, но это не помогло исправить радиостанцию. Наконец, улучив момент, Лапшёв предложил заменить её новой, резервной, попросил тридцать минут на это. Рассерженный и всё ещё продолжавший материться командир бригады выполз из шалаша. За ним выползли все остальные. Снаружи, на снегу, прыгали, согреваясь, не посмеавшие забраться в шалаш при высоком начальстве бойцы моего взвода Стегин и Покровский.

У розвальней, которые проворный ездовой уже развернул для следования в обратный путь, начальство остановилось, что-то обсуждая. Вскоре полковник со старшим лейтенантом Лапшёвым покатали по просеке. Майор Сорокин с капитаном Фокиным остались. Через пару минут я присоединился к ним.

— Пошли-ка ты кого-нибудь на батарею за автоматами нам, — сказал, обращаясь ко мне, капитан. — Через полчаса мы двинемся к батальону, на передовую. Пойдёт майор, я, ты, пару

разведчиков захвати с собой. Давай-ка лыжи подгонять будем, — и он стал подбирать себе подходящую пару из воткнутых в снег.

Стемнело, когда мы впятером двинулись в лес на лыжах по проторенному пути. Впереди пустили меня, за мной шёл капитан, затем майор, все с автоматами ППШ, висевшими поперёк груди на ремне, надетом на шею. Замыкающими были разведчики Афонин и Петухов, только у них за спиной болтались не автоматы, а карабины, т.е. винтовки без штыков.

Не передали в этот раз наши командиры свои ППШ нести рядовым бойцам.

Снова лес, но уже тёмный, ночной, страшный. Те же трупы, та же развилка дорог, вспомнившиеся, но уже таящие в себе пугающую ночную жуть кусты и отдельно стоящий в тесном сплетении молодняк. Каждая занесённая снегом и причудливо пригнутая к сугробу, как лапа, ветка сосны или ёлки настораживала, приковывала взгляд, пугала. Все молчали. Говорили только я да идущий за мной капитан.

Третьи сутки мои бойцы ничего не ели, и во всей батарее также.

— Ничего, ничего, — бодрым, весёлым голосом отвечал капитан, — на то и война, терпеть надо и не жаловаться. Не мы одни.

— Терплю, терплю, — вздохнул я. — Однако почему те, кто должен думать об этом, беспокоиться, не слишком-то, видно, утруждают себя? Для них что — нет войны? Суворов-то вон говорил, что для офицера война — это чины и звёзды, а для солдата война — это куры и поросята. Какие тут куры и поросята! Тут баланду с сухарём не привезут никак!..

— Надо беспокоиться, конечно, надо, только в первую очередь о том, чтобы бить фрицев, и как можно сильнее бить, — нажимал капитан на слове “сильнее”. — Твои рации и телефония должны быть в постоянной боевой готовности, а то первым очутиться у ёлки, вот что я тебе скажу. Понял?

— А почему же, когда в Москве, в Хамовниках стояли, мы получили эти рации за неделю до отъезда? Да ещё, если не считать Быкова, — он младший командир, ни одного радиста к ним не дали? Ведь Колесов-то со своей радиостанцией — что петух со скрипкой, и я-то ни в радиотехнике, ни в телефонии почти ничего не смыслю, я, командир взвода связи! Вы ведь знаете всё это, товарищ капитан! Разве виноват я в том, что, неплохо зная стрельбу на море и матчасть тяжёлых морских орудий, я никогда не соприкасался с полевой артиллерией, с её оснасткой, тактикой. А ведь, ей-ей, управляя огнём батарей на Северной стороне в Севастополе, во Владивостоке, в бухте

Патрокл или на мысе Эгершельд, у меня неплохо получалось. Хамовники-то, откровенно говоря, вспомнить страшно: подлинно было не ученье, а одно мученье.

— Тише, тише, разошёлся, — вполголоса говорил капитан, — война есть война, это понимать надо.

— А как можно было выпустить нас на фронт, — продолжал я, — с семью километрами провода на катушках? Разве неизвестно было, что пушки наши за двенадцать-тринадцать километров от немецких огневых точек устанавливать придётся? Что теперь делать? Где брать кабель? И почему батальон бросают в бой, поднимают в атаку, не ожидая артподготовки, ведь это самоубийство?!

— Многого ты ещё не понимаешь, молокосос, на фронт попавший, а я всю финскую провоевал, — отвечал капитан. — Ты не понимаешь, что больше всего мы технику должны беречь, пушки — наши кормилицы. Что мы без них? Пехота, рядовые. Пушки потерять никак нельзя, это гибель наша. Пока есть они — и мы живы. А бойцов надо заставлять воевать, эта сволочь только и думает, где бы пожрать и как бы отсидеться. Теперь понятно, что с тебя требуется?

Я промолчал. Да, мне понятно было не только то, что сказал капитан, но и то, что он, не высказав, думал. Конечно, матчасть орудий важнее всего. А люди? Что люди! Потери личного состава всегда покроеет пополнение, так называемые маршевые батальоны. Либо в тыл нас отведут, на переформирование. Только чтобы обязательно матчасть была, чтобы не оказаться списанными в пехоту.

Мы шли не быстро, ориентируясь по проводам связи. Часто останавливались. Растянулись. Капитан не отставал от меня, был где-то близко, сзади.

Так прошли пятнадцатикилометровый путь до опушки леса, к Избытову. В конце пути лес стал разнообразиться, оживился. Всё чаще и чаще попадались открытые костры с сидящими вокруг них краснофлотцами второго стрелкового батальона. Костров и групп становилось всё больше и больше. Огромные языки пламени и густой дым достигали чуть ли не вершушек высоких сосен, ярко освещённых на фоне чёрного ночного неба, изрезанного многочисленными искрами от костров.

В лесу стоял резкий запах хвои, смолы и дыма. Снег местами был основательно утопан, и мы, чувствуя большую усталость, с удовольствием облегчились: сняли лыжи, воткнули их с палками в снег, причём я старался приметить и запомнить место, где мы их оставили. Разговоры и окрики, гомон и шум были кругом изрядные. Лес был освещён кострами настолько ярко, шума в нём

было так много, что я живо представил себе впечатление от этого у немцев, расположенных, вероятно, не дальше чем в километре отсюда. И это называлось неожиданным и скрытым броском батальона!

Вскоре мы добрались до резиденции командира батальона, где все тоже сидели вокруг костра со следами недавнего ужина, причём с водкой. Здесь же был подзамёрзший, но навеселе, Калугин. Быков и Лапшин бродили невдалеке, безрезультатно пикируя баланду. Стрелки батальона заканчивали ужин, гремели котелками, уже пустыми и с баландой, орудовали ложками или стоя допивали из котелка остатки. Несколько раз я пытался “спикировать”, прося то одного, то другого оставить глоток или дать кусочек курицы. Не помогло. Бойцы отворачивались или со злым выражением лица глядели, не отвечая. Один раз, приняв меня за стрелка из отдельной роты автоматчиков, с бранью погнались жрать в свою роту, отозвавшись о ней нелестно и крепко.

Ночь брала своё. Мороз крепчал. Пришло на ум сравнение, что вот мы сейчас, как голодные шакалы, бродим среди костров в поисках какой-нибудь пищи. Не удавалось и погреться, пристроившись поближе к костру, — близкие к огню места везде были заняты. Подходить к Калугину я больше не решался. Среди бродивших со мною ребят Быкова и Лапшина, Афонова, Смирнова и Петухова я чувствовал себя уютнее и теплее, чувствовал, что они тоже ко мне жмутся. На командном же пункте подчёркнуто старались не замечать меня, там был я чужим и лишним.

Эта холодная, кошмарная ночь с таким жутким чувством голода, третья подряд ночь без сна, всё время на ногах, несмотря на страшную усталость, перепрыгивание через какие-то ямы и канавы от костра к костру, бесконечная, как в калейдоскопе, смена серьёзных, измученных или злых лиц краснофлотцев пехотного батальона навсегда, должно быть, запечатлелась в памяти, как застывший ужасный по воспоминаниям миг у проснувшегося в середине тяжёлой операции. Давил шею ремень отяжелевшего автомата. Неоднократно перекладывал я его за спину, вешал на руку.

Стало светать. Костры погасли. Краснофлотцы шумно разбирались поротно и повзводно, куда-то уходили. Мы собрались у командного пункта батальона, вблизи наших командиров.

Бой за Избытово

21 февраля 1942 года

В шестом часу тронулись в путь. Утопая в снежной целине, шли гуськом, след в след, десять человек. Я шёл третьим. За мной тяжело двигались с тяжёлой ношей радисты Быков и Лапшин: кроме радиостанции и упаковки питания им приходилось нести своё личное оружие. Петухов и Афонин успели уже обзавестись полуавтоматическими винтовками (взамен своих карабинов) и широкими немецкими штыками в чехлах у пояса.

Шли медленно, с трудом, задыхаясь, проваливаясь в снег по самый живот.

Вот и опушка. Лес поредел. Знакомые, хорошо укатанные лыжни. Идущий передо мной капитан властным движением приказывает мне ложиться, сам замирает, маскируясь под какой-то заснеженной ёлочкой. То же повторяю и я — все замерли в полном молчании. В чём дело? В десяти шагах от нас на лыжне появляются ходко идущие фигуры лыжников с автоматами. Что это? Неужели немецкая разведка? Сердце бьётся сильно-сильно, буквально выпрыгнуть хочет, стараешься не шелохнуться, даже не дышать, собственное дыхание кажется недопустимо шумным.

Нас, однако, явно не замечают. Наши белые маскостюмы хорошо слились со снегом.

Как же быстро идут! Как после старта, если бы не готовый к бою автомат на груди у каждого.

У меня автомат крепко прижат и нацелен. Сильно отталкиваясь палками, проносится первый, второй, третий... Вот четвёртый, с металлической каской на голове.

Наши! Ну, конечно же, наши! Это прочёсывают опушку автоматчики батальонной разведки.

Считаю... Одиннадцать, двенадцать... Все прошли... Какое же сильное сердцебиение! Никак не успокоится.

Поднимаемся, пересекаем лыжню. Снова те же, теперь серые, сараи и заборы. Мы почти вышли из леса. Кругом — ни души. Останавливаемся у одинокой сравнительно небольшой ёлки. Уже совсем светло.

— Здесь, — шёпотом говорит капитан Фокин. — Кто будет корректировать огонь? — указывает он на ёлку.

— Давай, Афонин, лезь, — говорит комбатр Калугин.

Даю Афонину свой бинокль. Быков и Лапшин сняли с себя и развёртывают радиостанцию. Я лежу в снегу с ними рядом.

Остальные разведчики — полукругом, охраняют тыл и фланги. Под ёлкой стоят тихо, разговаривая почти шёпотом, Фокин, Сорокин, Калугин.

Ёлка была густой и невысокой, да и Афонин был, должно быть, не из хороших наблюдателей ииии корректировщиков артогна (плясун и весельчак он был отменный, на баяне играл неплохо. В своей деревне, конечно же, был “первым парнем”. Здесь требовалось другое).

После коротких вопросов снизу и ответов Афонина из густоты ёлки можно было сообразить, что видит он удовлетворительно ближайшие две деревни: Нижнюю и Верхнюю Сосновки, похуже — скрытое утренней дымкой расположенное дальше по шоссе Избытово. Видит также, как усеяно поле бойцами нашего пехотного батальона, и как немцы ведут по ним “откуда-то” огонь из миномётов и пулемётов.

— Больше всего из средней деревни бьют, — отвечал в раздумье и неуверенно Афонин, — плохо видно что-то.

Командиры внизу вполголоса советовались, в полный голос непристойно ругались.

— Связь готова? — спросил капитан Фокин.

— Есть связь с третьей батареей, — уверенно и чётко отвечал сидящий на коленях перед радиостанцией Быков.

— Давай, командуй! — приказал капитан Калугину.

— Шрапнелью... шрапнелью... прицел... угломер... трубка, — понеслись команды. — Батареей огонь!

Далеко в лесу ухнуло. Прошли секунды, и шрапнель, разрезая со свистом воздух, пронеслась высоко над нашими головами.

Недолёт и влево разорвались.

— Прицел... трубка... вправо, десять... батарея огонь, — снова понеслись команды.

Опять гул и свист снарядов.

— Клевки! — говорит сверху Афонин.

Залпы идут один за другим. Перестали стрелять шрапнелью, перешли на гранаты.

— Левая деревня горит, вся в огне, — сообщает с ёлки Афонин.

— Вызывай первую батарею — позывные “Сокол”, — приказывает капитан Быкову.

— Есть “Сокол”, — чётко отвечает Быков.

— Откроем огонь двумя батареями, — говорит капитан.

Снова и снова летят над головой снаряды. За несколько секунд слышишь их приближение, быстро нарастающий гул, переходящий в шипящий свист.

Машинально считаешь по глухому уханью разрывы. Уже

кончили стрелять по Сосновке, перенесли огонь батарей на Избытово.

Поднялось солнце. Я лежал в снегу рядом с Быковым, глядел на его молодое, открытое, несколько взволнованное лицо, в душе радовался за него, наблюдая исключительную чёткость в приёме и передаче им команд, представляя Быкова на его обычном месте в радиорубке эскадренного миноносца “Сердитый”, потопленного при налёте германских штурмовиков в серых водах Балтийского моря. Рассказывал он, что случилось это чуть ли не при тридцатом массовом налёте авиации на миноносец недалеко от острова Эзель в августе сорок первого года. От осколочного ранения навсегда остался у старшего радиста Быкова глубокий шрам, идущий от подбородка на шею.

Копошились в голове также другие, печальные мысли. Думал я о том, что где-то там рвущиеся, притом в большом количестве, наши снаряды приносят сейчас физическую боль, смерть и разрушение. Кому? Знаем ли мы это? Может быть, от них страдают сейчас не столько немецкие солдаты, сколько в ужасе выбегающие из домов русские, жители тех изб, пламя и чёрный дым от которых видны даже отсюда, с места, где я лежу. Какая ужасная, бессмысленная и беспощадная штука война! В душе моей росло удивление: как мог я раньше любить артиллерийское дело, особенно искусство управления огнём, как мог самозабвенно, чуть ли не наизусть учить ПАС № 3^[5], радостно вдыхая полной грудью воздух, смотреть в окуляр оружейной панорамы, в бинокль или в стереотрубу, наблюдая играющие на солнце сказочно белые барашки волн около учебного щита, буксируемого за маяком Скрыплева “Ильёй Муромцем” или “Добрыней Никитичем”, видеть вздымающиеся перед щитом всплески, ликовать от прямых попаданий, слушать, как музыку, залпы тяжёлых морских орудий?! Как мог я это любить, и как разительно отличается это солнечное далёко от сурового и злого настоящего!

Думалось и другое: наблюдательный пункт для стрельбы выбран неудачно. Ёлка невысока, слишком пушиста, да и батальон далеко от нас, вправо. Почему бы не ближе к нему расположиться? И зачем этот полушёпот при командах — кто нас здесь услышит?

Почему вчера шрапнель называли кашицей, гранаты огурцами, а сегодня, во время боя, всё стали называть своими именами? На какую-то детскую игру похоже, именно на игру, если бы в голову не лезло с таким упорством представление о действительных разрывах шрапнели и о том, что несёт с собой взрыв фугаса в деревенской рубленой избе.

Да, было время, когда сияло солнце, ослепительно сверкало море в заливе Петра Великого, в бухтах Патрокл и Улисс под Владивостоком, было время, когда били стальными учебными болванками по щитам, надуваемым ветром... Теперь перешли к настоящему. И как же это тяжело, как это противно, отвратительно!

— Товарищ капитан, — говорит сверху Афгонин, — вижу наших автоматчиков, бросающих в деревне ручные гранаты. Немцы погрузились на машины, уезжают по шоссе.

— Бей по шоссе, перенеси огонь вперёд, отрежь им путь, — говорит капитан Калугину.

Снова команды и залпы.

Мои раздумья прерваны. Капитан и Калугин громко ругают Афонина. С корректировкой огня и наблюдением что-то не клеится.

— Зачем этого дурака посадил на ёлку? Ничего он не умеет, — бранит Калугина Фокин.

Афонин быстро спускается вниз. На ёлку приказывают забираться мне. Я поднимаюсь со снега, подхожу к ёлке, однако высказываю явное неудовольствие таким распоряжением. Ёлка очень неудобна, в деревне уже наши, и бой сильно сдвинулся вправо: кроме того, глаза Афонина ко многому уже привыкли...

Внезапно резкий хлопок и разрыв мины появляется перед нашей ёлкой, метрах в сорока-пятидесяти. Второй, третий разрыв влево от нас.

— Нащупывает, проклятый! — нервно говорит капитан. — Свёртывайтесь быстрее!

Все двигаются вдоль лыжни, вправо по опушке. Я помогаю Лапшину и Быкову снять штыревую антенну, свернуть и упаковать рацию. Делаем всё быстро, но аккуратно, хозяйственно. Идём по глубокому снегу, догоняя своих. Останавливаемся метров через триста. Впереди на большой снежной поляне, отделяющей лес от деревни, расползлись наши пехотинцы. Взгляд задерживается на группах с шляпками-волокушами, с пулемётами, которые тащат бойцы по сверкающей снежной целине.

Утреннее солнце освещает верхушки сосен и елей. Здесь, на опушке, лес высокий и стройный, с любого дерева наблюдать удобно. Сразу прийти бы сюда! Неожиданно встречаем командира батальона, с ним человек шесть бойцов и командиров. Майор и капитан вступают в разговор с ним, идёт оживленное обсуждение, в котором я участия, к сожалению, не принимаю. Самому подойти послушать — кажется неуместным, подозвать к себе — не подзывают. Стою в сторонке со своими разведчиками и

радистами, улучившими минуту, чтобы снять с плеч лямки и опустить на снег свои тяжёлые ноши.

Обсуждение закончилось. Капитан подзывает меня и приказывает выбрать дерево, удобное для организации наблюдательного и командного пункта. Исполняю быстро. Все подошли к высокой ёлке, одиноко выдвинувшейся перед лесом на поляну.

Давай, забирайся на ёлку, — приказывает мне капитан. — Будешь корректировать огонь вашей батареи по Избытову, а огонь первой батареи направим на Залучье. Туда сейчас первый батальон наступает. Понял? — говорит он, заключая, как всегда нецензурно, деловую часть приказа.

Я вешаю свой автомат понадежнее на одну из толстых нижних веток и приступаю к ёлке. Лезть приходится медленно: тяжёл я очень и толст, как бочка, в своём многослойном обмундировании. Но минуты идут, забираюсь всё выше и выше. Ёлка определённо удобна для наблюдательного пункта: и высока, и в меру пушиста.,

Выбрал я место, откуда прекрасно всё видно: и две левые деревни, и разделяющий их занесённый снегом овраг, и серая лента шоссе, и действительно, как дымкой прикрытая, какая-то третья деревня (вероятно, Избытово?), и многочисленные серые на белом фоне фигуры наших пехотинцев, небольшими группами и в одиночку разбросанные по целине на разных от жилых строений и от леса расстояниях.

Я громко начинаю объяснять стоящим внизу развернувшуюся перед глазами панораму. Говорю о движении на далёкой серой ленте шоссе отдельных, по-видимому, быстро несущихся грузовых автомобилей с немцами. Людей в деревнях не видно, однако отчётливо вижу группу наших пулемётчиков на поляне, ведущих огонь про какой-то не видной, непонятной мне цели. Вырывающаяся из пулемёта струя кажется временами оранжевой или ярко-жёлтой.

Двойные варежки мои, несмотря на мороз, давно уже болтаются, как на привязи, в рукавицах маскостюма, составляющих с ним одно целое. Пальцы вцепились в бинокль, глаза устали от долгого пристального наблюдения. Очень интересно здесь, наверху, но холодно в то же время.

Снизу никаких команд что-то не поступает, похоже на то, что меня даже никто не слушает.

— Ну, как там? Скоро начнём стрелять? — кричу я, обращаясь к лейтенанту Калугину.

— Давай-ка слезай, — отвечает он мне, — пойдём выбирать другой пункт.

Два чувства одновременно овладели мною, когда я осторожно спускался с ёлки. С одной стороны — досада, что напрасно лазил, не пришлось пострелять, с другой стороны — радостное чувство, что снова на земле, чувство святого нервного напряжения.

Спрыгнув с последнего сучка в снег, я в недоумении огляделся. Под ёлкой уже никого не было. Все ушли, а вот куда — неизвестно. Мимо ели, тяжело ступая след в след, шли на поляну грузные фигуры в маскостюмах с винтовками или полуавтоматами, с подсумками и ручными гранатами у пояса — по-видимому, стрелки батальона. Я обратился к ним, спрашивая, не видели ли, куда переместился командир батальона и остальные, бывшие с ним бойцы и командиры. Никто не знал. Отвечали устало и равнодушно. Несколько минут я смотрел по сторонам, пытаюсь сообразить, куда же могли все пойти. Безнадёжно! Следов кругом множество, и немало по сторонам народа — как на опушке, так и в глубине леса. Больше же всего бело-серых точек на открытой поляне. Батальон подтягивался к деревне.

А краснофлотцы батальона всё шли мимо меня и шли.

— Куда идёте? Какая рота? — спрашивал я проходящих. Иные, то ли устало, то ли злобно посмотрев на меня, проходили, не отвечая, мимо, другие отвечали крепкой руганью в чей-то, непонятно, адрес.

— Вторая рота. Подтягиваемся из резерва. В деревню идём, — ответили, наконец, мне. Вот снова мелькнул морской “краб” на чёрной меховой ушанке, выглядывающей из-под белого капюшона. “Командир взвода, может быть, роты”, — мелькнула мысль, и я, пропустив ещё несколько бойцов, влился в их строй и пошел с ними.

“Если деревня уже наша, одна-то, левая, очевидно, наша, то и командир батальона, и майор, и капитан — все, вероятнее всего, двинулись туда. Пойду-ка и я в деревню, преодолею с пехотинцами этот километр пути”, — так думал я, медленно и с трудом шагая теперь уже по открытой поляне, с каждым шагом удаляясь от леса.

Солнце стояло высоко, светило ослепительно, и это радовало, отодвигая как-то на второй план и ужасную усталость, и потребность сна, и голод.

Пехотинцы шли не молча. Они переговаривались, односложно перекидываясь фразами, из которых было ясно, что и голод, и усталость, и желание курить, и общее недовольство были у них как раз на первом, а не на втором месте.

— Шабаш, ребята! Закуривай! — громко крикнул кто-то впереди, при этом все, как по команде, остановились, тут же

плюхнувшись в снег. Сел в снег и я, с удовольствием предвкушая минуты отдыха и перекура. Вытянувшись из леса метров на двести, цепочка растянулась. Кто лежал в снегу, кто сидел, опустив ноги в глубокие следы, и уже свёртывал сигарку.

Я сидел в снегу, перекинув автомат за спину и откинувшись, рылся в кармане в поисках коробки с лёгким табаком и портсигара с тонкой папиросной бумагой. Уже извлечён табак, бумага, уже коробочка из-под чая снова спряталась в карман на своё место. Только хорошенький портсигар из светло-кремового целлулоида лежит у меня на коленях, пока я, старательно свернув и склеив слюной сигаретку, вставляю её в свой янтарный мундштук.

Что это за сильный нарастающий гул приближается со стороны леса?

Самолёты! Через секунды гул переходит в сплошной рёв, и, оглянувшись, вижу эти громадные чёрные птицы со свастикой на крыльях, несущиеся прямо на нас, на поляну, низко-низко, над самым лесом.

Трудно, почти невозможно описать то, что произошло в следующие минуты! Лежал лицом вниз, основательно зарывшись в снег, как можно плотнее. Это помню. Пикирование и свисты летящих фугасок, глухие удары, сотрясающие землю, тоже помню. Взрывы совсем близко, чуть ли не рядом, с крупными осколками разорвавшейся бомбы, летящими надо мной. Помню. Перевёртывание в снегу (произвольное или непроизвольное — не знаю!), перемену места... Помню секунды, мгновения перерыва, когда успевал приподняться.

И новые налёты, и снова пикирование, длинные пулемётные очереди по лежащим в снегу, строчки по снегу от пуль, лежащих совсем рядом, вздымающих снег. Помню, как засыпало снегом лицо. Крики и стоны кругом, кровь на снегу, летящие вверх оторванные руки и ноги, точнее — какие-то окровавленные куски. И невиданное замирание сердца, и дрожь, и единственную, пожалуй, мысль, что всё кончено, что вот-вот пулемётная очередь “мессершмидта” перепилит меня сейчас, прошьёт живот или ноги.

Сколько минут продолжались бомбёжка и безнаказанный расстрел из пулемётов? Двадцать, тридцать, сорок? Это не знаю, не помню. Кажется что-то очень долго.

Как выбрался я из этого ада, как оказался в лесу? Ползком или во время перерыва?

Волнами налетали то штурмующие “юнкеры” с фугасками, то пикирующие “мессершмидты”. Они чередовались — это помню отчётливо. Лыжи самолётов проносились над самой головой,

чёрные тени закрывали солнце.

Не ведаю, как и почему я жив остался! Только портсигар и варежки с рук пропали бесследно, да в полах шинели появилось несколько дыр и пробоин.

Когда я оказался у ёлки, бывшей мне недавно наблюдательным пунктом, встретили меня двое разведчиков моего взвода. Бомбёжка ещё продолжалась, только сместилась значительно ближе к деревне.

— Ну и дал жару! — сказали они, подходя ко мне.

Но я не мог говорить. Руки и ноги тряслись сильной мелкой дрожью, ноги не шли, а подкашивались, слова вылетали как-то несвязно, заикаясь. Поняв моё состояние, они заботливо и сочувственно взяли меня под руки, повели недалеко, в глубину леса.

Там, у ствола большой поваленной старой берёзы, были и Калугин, и радисты мои, и все остальные. Только майор и капитан, как я узнал, ушли “на базу”, т.е. к батареям, штабу и обозам.

Меня посадили на снег, прислонив спиной к стволу берёзы, покрытому толстым слоем снега. Смахнули на небольшом участке. Стоя передо мной, Калугин жевал губами и спрашивал:

— Ну как, отдышишься?..

Все оживленно рассказывали, кого и где застала бомбёжка (в лесу-то было спокойнее), как угодили под прямые попадания авиабомбы оказавшиеся рядом командир взвода и политрук второй роты пехотного батальона, и что от них ничего не осталось.

И мне предоставили отдыхать, дали мне и варежки — с себя по одной сняли, разные только, и я вскоре, сидя в снегу, заснул под косыми солнечными лучами, пронизывающими деревья.

Когда меня растормошили — вечером, солнце садилось, и большая часть теперь уже изуродованной поляны была покрыта тенью.

— Ну как, тронемся в деревню? Отошёл, что ли? — спрашивает меня Калугин.

Я поднялся. Да, отошёл, видно, только слабость и подкашивание в ногах остались. Снова в путь, снова один за другим, цепочкой шагаем по снегу.

Вот и деревня, вернее, то, что от неё осталось. Домов и строений почти нет, одни догорающие пожары и пожарища: тлеющие, или обугленные, или дымящиеся ещё остатки на тех местах, где строения стояли. Правильные обугленные четырёхугольники золы, головешек и пепла. Трупов в деревне совсем нет. Есть воронки от снарядов, но и тех не так много.

Сохранилось не больше чем пять-шесть изб. Одна маленькая-маленькая, в одно окошко, стоит одиноко в самом центре деревни. Во дворе находим открытую бочку с замёрзшей квашеной капустой. Ребята колют капусту, как лёд, пытаются есть. Присоединяюсь к ним и я: кислые льдинки тают во рту, обжигают его, но не насыщают.

— Давай развёртывать рацию, по Верхней Сосновке стрелять будем. Видишь: немцы! — говорит мне командир батареи.

Через глубокий овраг, метрах в четырёхстах от нас, не больше, — Верхняя Сосновка. Хорошо видны фигурки в темно-зелёном обмундировании, обливающие (вероятно, бензином или керосином) деревенские избы и потом поджигающие их, присаживаясь на корточки. Эти фигурки гипнотизируют нас, приковывают наше внимание, как мыши кошку. Но и от бочонка с капустой трудно оторваться.

— Быков, давай связь, развёртывай скорее рацию, — говорю я.

Тут же, у этой избушки, в неглубокой воронке, снова копошатся на коленях радисты. Уже темнеет. Калугин торопит, прыгая от холода, и тоже время от времени подбегает к бочке.

Редкие, одиночные выстрелы заставляют немцев быть поосторожнее. Фигурки прячутся, пропадают. Совсем темнеет.

— Давай, веди огонь по Верхней Сосновке, по десять снарядов на орудие, а я пойду, буду в штабе батальона, — говорит мне, собираясь уходить и ёжась от холода, Калугин.

— Товарищ лейтенант, — говорю я ему, — но ведь я не знаю ни расположения нашей батареи, ни наше местонахождение. Неужели ни у вас, ни в артдивизионе нет карты местности, где мы воюем? Где Залучье, где Избытово, какая Сосновка Верхняя, какая Нижняя — об этом что, догадываться нужно? Я средний командир, теперь вон офицерским составом нас величают начинают, однако всё время какое-то недоверие, ничего не объясняют, обстановки не знаешь...

— Ну, вот что, — отвечает он, смягчаясь и дружелюбно, — я покажу тебе сейчас карту. Никакого недоверия нет, ты в этом не прав, просто во всём дивизионе это единственная карта, сам на время только что выпросил её у капитана Фокина. Вот смотри! — Калугин лезет в свой планшет, достает карту, с трудом развёртывает её на ветру и морозе. — Вот Избытово, вот Сосновки, вот Хмели, а вот здесь расположена наша батарея. Понимаешь теперь тактическое обоснование боя за Избытово? Немцы цепляются изо всех сил за каждый населённый пункт, за каждый участок шоссейной дороги, они покинут, конечно, и Верхнюю Сосновку, видишь — палят её. Однако поддаться им

шрапнелью не мешает. Давай, разворачивайся, ночь-то нам здесь провести придётся. Я буду с командиром батальона, там, в крайней избе, а ты где думаешь устроиться?

— Думаю, вот в этой избушке, — показываю я головой на смотрящую своим единственным оконцем в сторону Верхней Сосновки, — её мои ребята успели уже внутри обследовать.

— Рискованно, опасно, — качает головой Калугин, пряча в сумку с планшетом карту, от которой я никак не могу оторваться, стараясь запомнить расположение и названия окружающих деревень, связывающие их дороги, ориентировку по компасу и буссоли.

— Есть связь с батареей, — докладывает Быков.

Калугин уходит. Открываю беглый огонь шрапнелью по Верхней Сосновке. Корректировку веду, стоя на голом, открытом всем ветрам месте. Никак не удаётся откорректировать высоту разрывов. Совсем стемнело. Шрапнель рвётся на фоне тёмного ночного неба. Конец стрельбе. По воздуху летают пылающие головешки. Людей в деревне совершенно не видно. Свёртываем радиостанцию и удаляемся в намеченную избушку. Удивительно невелика она: площадь внутри не больше восьми-десяти квадратных метров. Однако ребята успели уже слазить на чердак, “спикировали” за сеном. Весь пол теперь большим слоем сена устлан. Заделано и выбитое оконце. Смотришь и думаешь: как мало нужно человеку, чтобы быть счастливым! Но к беде беда прилипает, а к счастью, вероятно, — счастье.

— Тпруу, чёрт! — слышится снаружи одновременно с прекратившимся скрипом полозьев.

Это старшина Максимцев привёз нам на Полундре термос с баландой и сухари. И с какой же неподдельной, умилённой радостью смотрит он, как каждый из нас проглатывает свои полкотелка баланды, смачивает в ней сухари и хрустит ими. Сухарей по триста граммов дали.

Делимся с ним впечатлениями дня, узнаём новости. Мне он говорит, чувствую, что от души и радостно ослабившись:

— Вас-то мы, товарищ младший лейтенант, из любого огня вытащим. Вы не сомневайтесь в этом!

— Спасибо, Максимцев!

Он торопится, уезжает. Поедет-то уже по шоссе, через Хмели.

Спать, спать! Скорее теперь лечь, поспать устроиться.

Вскоре совсем стемнело, а по мере того, как появился слой сена на полу избушки, мои ребята валились в него и тут же засыпали. Стремился и я к этому, однако прежде пришлось распределить между всеми часы ночного караула. Каждому я определил стоять на посту по одному часу и, вырвав листок

бумаги из блокнота, записал на нём часы дежурства и фамилии караульных. Положив листок на узенький подоконник, я завалился в сено у наружной стены рядом с оконцем — единственное оставшееся свободным место. Недолго успели побродить в голове моей мысли о странности ночлега: кругом пожарища от сгоревших строений, в полукилометре от нас — ярко полыхающая деревня, в ней — немцы. Есть ли охрана нашей деревни стрелками батальона? Кто знает?! Должна быть...

Как добирается сейчас до батареи Максимцев — в одиночестве, на Полундре? Где находится и что делает сейчас командир батареи? Избу-то, что показывал он мне, я не заметил... Тут я заснул как мёртвый. И уши у шапки не развязывал, и ремень на поясе не ослабил, и бинокль, и полевую сумку с компасом, и автомат на ремне — не спустил с себя.

Спать пришлось недолго. Разбудил часовой — Афонин.

— Товарищ лейтенант, немецкий миномёт нащупывает — бьёт прямо на нас, — сказал он, растолкав меня.

— Пусть бьёт, не попадут, а попадут — узнаем, — сказал я Афонину, отправляя его обратно на пост.

Не подымаясь с сена, в полусне старался по разрывам мин определить, как бьёт миномёт, взял ли он нас в вилку.

Разрывы ухали редко, методично. Снова забылся. Наконец, несколько разрывов пришлось совсем рядом, по-видимому, на дороге.

Поднялся. Вышел. Стояла тёмная морозная ночь. На посту Лапшин, но он крепко спал, привалившись к заснеженной завалинке. Карабин стоял рядом, приставленный к стенке.

Я разбудил Лапшина. Выговорил ему серьёзно и печально: ну как можно спать, зная, что отвечаешь за жизнь своих товарищей? За это в мирное-то время арест, а в военное?.. Сколько осталось до конца смены?

— Двадцать минут, простите, товарищ лейтенант, только что заснул.

Пошёл, посмотрел места разрыва мин. Мы не освещены, соседняя деревня, Верхняя Сосновка, совсем догорела, была тёмной. Тлелись места пожарищ.

Снова в избу. На пост вскоре встал Смирнов.

Чёрт его разберёт, прицельный ли огонь ведёт немец из миномёта, или так беспокоит — бьёт куда попало? Заснул.

Ухнуло, наконец, так грозно, что все проснулись, повскакали. Угодил под самую фасадную стенку! Вывалилась оконная рама, разворотило порядочно. Все быстро повылезали, ругаясь, на улицу, затушили загоревшееся было сено.

Посмотрел на часы. Скоро начнёт светать. Спасибо, что хоть

немного-то поспали! Пошли искать командира батареи.

В деревне, вернее, там, где была деревня, ни души. Нет ни войск, ни охраны, ни патрулей, ни трупов. А “крайняя изба” — нежилая: остался остов разбитого, разрушенного дома, где только ветер гуляет. Вышли без строя толпой на шоссе. Стало почти светло.

На Извоз с третьим батальоном

22 февраля 1942 года

Грязно-серое от частого движения шоссе ограждалось счищенным с него снегом высотой больше метра. По шоссе приближалась к нам запряжённая в розвальни вороная лошадь. Когда она поравнялась с нами, я увидел обращённое к нам суровое лицо полковника — командира бригады. Мы разбрелись, однако я успел поспешно махнуть рукою, приложив её к головному убору, отдать воинское приветствие. Полковник проехал мимо нас молча, угрюмо, на приветствие не ответил.

Продолжая следить за ним взглядом, мы заметили, что лошадь свернула вправо, в Верхнюю Сосновку.

“Видно, там и командир батальона, и командир батареи”, — естественно, решили мы.

Через полчаса мои ребята уже толпились во дворе какой-то сохранившейся избы в Верхней Сосновке, а я пробрался внутрь, где застал много командиров, в том числе и полковника, беседующего с командиром и комиссаром батальона. Неподалёку от них стоял заметивший меня Калугин. Движения в мою сторону он не сделал, подозвать к себе не подозвал, и я, потолкавшись немного, снова вышел на мороз, к ребятам. Быков и Лапшин возились у радиостанции, развернув её на снегу и настраивая для проверки.

Я подошёл к ним.

— Товарищ лейтенант, — сказал мне Быков, — теперь наша радиостанция работать не может. Питание село окончательно.

— Ты совершенно убеждён в этом? — спросил я Быкова.

— Да, рация не работает, это очевидно, и сделать что-либо я не в силах, — ответил Быков.

Очень уж неприятно было докладывать об этом командиру батареи, однако пришлось. Я снова вошёл в избушку. Обошлось всё, впрочем, сравнительно благополучно. В избе уже была развернута и приведена в готовность рация первой батареи, и командир батареи Соколов, наблюдая в бинокль из окна избушки, открывал огонь по Залучью.

В это же время полковник, подозвав Калугина (приблизился вместе с ним и я), приказывал ему перейти в распоряжение третьего батальона и поддержать артогнём его наступление на деревню Извоз. Первый же и второй батальоны, сильно пострадавшие при взятии Избытова и Сосновки, будут наступать

на крупный районный центр Залучье.

Момент оказался подходящим. Калугин чётко и с хорошо напущенной на лицо весёлой готовностью ответил: “Есть поддержать артогнём наступление на Извоз”, сумел вернуть дальше к слову жалобу на походные радиостанции, просил об их замене.

Полковник, прислушавшись и подумав, обещал объединить все рации и всех батарейных радистов во взводе управления артдивизиона, у старшего лейтенанта Лапшёва, сказал, что даст указания капитану Фокину.

Мы вышли на воздух. Шрапнель из орудий первой и нашей, третьей, батарей уже гудела над лесом, свистела над головами, неслась на Залучье. К моему немалому удовольствию, Калугин приказал мне с тремя разведчиками взвода идти на батарею, готовить телефонную связь для наступления на Извоз. Сам остался, задержав с собой Быкова и Лапшина с радиостанцией.

Торопливо шагая по шоссе на Хмели, мы с опаской поглядывали вверх, затаивая в душе волнующий всех вопрос: а ну как снова появятся немецкие самолёты...

Они не появлялись. Шли мы врассыпную. Рядом с шоссе тянулся лес. Я шёл со Стегиным, обсуждая вопрос о наших потерях телефонного провода и о неотложной необходимости пополнения этих потерь. Вот и Хмели. Сожжены лишь отдельные дома. Идём по проезжей части улицы. На душе радостно. Четвёртые сутки идут, как начали воевать; всё очень тяжело, почти кошмарно, плохо, холодно и голодно; далёким сказочным сном представляется нормальный сон, под простыней, в постели, — и всё-таки радостно: идём по освобождённой земле, нами освобождённой, по шоссе, нами отвоёванному, по деревне, в которой совсем недавно видели тёмно-зеленые фигурки в высоких (но коротких сравнительно с нашими) рыжеватой кожи сапогах, по деревне, которая казалась такой неприступно-далёкой, а вот теперь — наша.

Приподнятое, радостное настроение чувствовалось у всех ребят, идущих со мною. У меня в значительной мере перебивалось оно тревожащими мыслями о порче наших радиостанций, об отсутствии запасных батарей питания, о значительной потере телефонного провода. И что будет дальше? И будем ли мы есть хоть что-нибудь сегодня?...

С такими мыслями и разговорами мы, пройдя деревню, свернули в лес. Предстояло пройти тропкой, по которой недавно пробирались в лес немцы, той тропкой, что шла по широкой просеке, затем снова вступить в зону знакомого множества разбросанных трупов, пройти молодой ельник, выйти к нашей

промежуточной станции. Там командир отделения Умнов, там наши остальные телефонисты. А сзади — батарея. По тропке шли гуськом. Вот уже и лес близко; в нём — трупы, к которым так тяжело и страшно приближаться.

Сзади послышался быстро нарастающий рокот мотора. Мгновенно оглянулись и тут же, как по команде, упали в снег. Самолёт! Немецкий истребитель! Он нёсся прямо на нас, низко-низко по просеке и, настигая, уже строчил из пулемёта.

Сердце зашло, похолодело. На мгновение мелькнуло лицо лётчика в очках, целившегося в пулемёт. Над головой снова пронеслись лыжи.

Бах!... Бах!... Прогремели тут же два одиночных винтовочных выстрела. Самолёт уже набирал высоту, дав по нам прощальную, запоздалую очередь из пулемёта. Кто же стрелял?

— Ишь, скотина! Жалко, что промазал по нему, — усмехаясь, говорил разведчик Смирнов, перезаряжая и снова беря на ремень свою винтовку. Все поднялись, отряхываясь от снега.

“Крепкие у тебя, друг, нервы”, — подумал я, невольно вспоминая, что Смирнов один из всех нас носит в кармане орденскую книжку за участие в боях на Халхин-Голе. Не гордится, не хвастается этим, а боец примерный, отличный.

...Трупы в лесу лежат всё те же, на тех же местах. Только большинство до белья раздеты, сапоги почти со всех сняты. Кто занимался этим?..

Вот ельник. Вот и шалаш нашей промежуточной телефонной станции. Вползаем, охватывает тепло от костра, запах смолы и хвои.

В шалаше один Колесов. Он сидит теперь уже у телефонного аппарата: радиостанцию 6-ПК забрали в дивизион, к старшему лейтенанту Лапшёву. Командир отделения связи Умнов где-то на батарее. Отдыхаем и греемся у костра.

День проходит в уточнении состояния нашего имущества связи и приведении его в порядок, в сборе бойцов взвода — разведчиков и телефонистов, в разборе наших ошибок, в решении того, что делать дальше. Мучает голод. Ужасно мучает. Не было завтрака, нет и обеда...

Приехал командир батареи из Верхней Сосновки. Откуда-то достал сани и лошадь. Один, сам правил. А где Быков и Лапшин с радиостанцией? Остались в деревне. Приказал отправить за ними лошадь с каким-нибудь бойцом моего взвода, вот только съездит на батарею.

Вызвался Петухов. Сели вдвоём с Калугиным в сани — уехали.

Вечерело, когда Петухов вернулся с батареи на

промежуточную. Встретил его у шалаша:

— Ну как, доберёшься ли до темноты в Верхнюю Сосновку, успеешь ли забрать и привезти сюда наших радистов?

— Ещё как успею, товарищ лейтенант, не извольте беспокоиться! Петухов ни дороги, ни темноты не боится. Дело для дурака привычное. Карабин со мной, здесь, под сеном. Привезу их вам в лучшем виде. Н-но, милая!

— Поезжай!

Заскрипели полозья. Через пару минут сани и лошадь уже скрылись из глаз.

Снова заполз я в шалаш. Болтаются, как на привязи, варежки в рукавицах. Греешь над костром почерневшие от огня пальцы.

Темнеет. На просеке и опушке оживление. Это проходит в путь на Извоз третий пехотный батальон.

Первой проходит отдельная рота автоматчиков бригады. Идут в касках, на лыжах, с автоматами на груди или, чаще, за спиной на ремне. Вот взвод разведчиков батальона. С ним командир батальона — Ривьера, таковы его позывные (фамилию его не знаю, зову, как все называли). Он молодой, худощавый, подтянутый, строгий.

Разговаривая, смотрю на него с невольным уважением, далеко не малым. Ведь в его распоряжении, в его руках более семисот жизней — бойцов его батальона! Пехотинцы идут, тяжело переставляя ноги. Проходят девчонки-санитарки, проходит пулемётная рота, тянут волокуши.

Совсем стемнело. Поднялся пронизывающий ветер. Снова морозно.

Заползаю в шалаш к костру, но и тут неуютно, и тут продувает. Леденит уже в радиусе одного метра от костра, особенно у подваленного к веткам снега.

Скоро опушка опустела. Батальон ушёл куда-то в лес. Мои ребята смылись на батарею, а может быть, ещё дальше — к обозу и тракторам пробрались. Дремлем в шалаше вдвоём с Колесовым... Ужин, как и обед, как и завтрак, — не привозили.

Кто-то подходит, разговаривая, к шалашу. Узнаю поговору: это Лапшин и Быков. Возятся снаружи, снимая радиостанцию. Выползаю к ним.

— А где же Петухов?

— Какой Петухов? Мы с ним не встречались. Шли лесом. Еле еле дотащились. Ноги не держат, товарищ лейтенант! Устали, промёрзли, сил нет, — говорит Быков.

— Но где же Петухов? Я послал его за вами с лошадью в Верхнюю Сосновку. Ему давно пора вернуться, — говорю я, смотря на часы. Уже двенадцатый час ночи.

— Как в Верхнюю Сосновку? — изумленно переглянулись Лапшин и Быков, — она ведь снова занята немцами!...

Эту ночь, кошмарную ночь, проведённую вчетвером в шалаше, без охраны, — стоять на посту ни у кого сил не было, — при ледящем, прохватывающем шалаш ветре, не дающем спать, несмотря на адскую усталость, — эту ночь забыть невозможно.

Где-то теперь Петухов? Почему командир батареи не захватил с собой радиостанцию и радистов? Когда заняли немцы Сосновку? Какова судьба Соколова и всего второго батальона?...

Свистит ветер. Метёт снег. В лесу темно. Невдалеке — раздетые трупы и наших, и немцев. Кругом — ни души. Связи с батареей нет. Сколько ни крутили ручку телефонного аппарата, батарея не отвечает. Либо телефонист, оставив в снегу аппарат, уполз в шалаш и не слышит вызова, либо снова связь порвана.

Спишь и не спишь — скорей бы рассвет...

<i>23 февраля 1942 года</i>

Утром пришлось идти на батарею — шагать три километра, искать Умнова и телефонистов. Еле-еле находил. Выуживал из шалашей и обоза, расположившегося сзади на просеке, невдалеке от батареи. Нашёл Калугина. Сказал ему о Петухове.

— Да он здесь, вчера вечером ещё приехал, в обоз пробрался, — отвечал Калугин.

Нашёл Петухова.

— Чего с дурака взять, — говорил Петухов, — как выехал на шоссе, вижу наши секреты, сказали, небось! Да как покорооче, не заезжал я к вам, проехал.

— Ну, а доложить-то? Телефон-то на что?

— Был дурак — дураком и останусь, — отвечал злобно, с матом.

Умнов суетился, собирая телефонистов и имущество.

— Тяните связь прямо на север, по компасу, через лес, никуда не сворачивая. Карты опять нет у меня, — говорил мне Калугин, — проверь организацию работ у Умнова, а разведчиков своих забирай — пойдём к батальону.

Умнов стал жаловаться, что людей не хватает. С теми, что есть у него, не справиться. До Извоза по прямой десять-двенадцать километров будет.

Командир батареи, выслушав все наши жалобы и сообщения, распорядился добавить в помощь телефонистам четырёх водителей — трактористов с наших тягачей. Всё равно ведь стоят тягачи без дела, зарывшись в снег, замаскированные лесом.

Вызванные тут же трактористы выразили достаточно бурно и с густым матом своё полное незнание телефонии, неумение прокладывать связь и даже подвешивать провода. После длинных пререканий с разнообразными угрозами и бранью решено было использовать их в качестве маяков и на охране трассы.

Кроме трактористов в помощь немногочисленным телефонистам попали радисты Лапшин и Быков: радиостанцию 12-РП забрали в дивизион.

И снова от шалаша промежуточной телефонной станции, как от печки, потянули связь через поляну с ельником, в лес, на север.

За ночь с поземкой ещё подсыпало снега, да и путь был не проторен, не обжит (лесок с трупами остался левее), тянули долго, полдня прошло, соединяли бесчисленные обрывы и повреждения провода, уже намотанного на катушки, “трофейного”, набранного в лесу.

Пришлось убедиться, что, удвоив, правда, наши запасы телефонного провода, Умнов не потрудился привести его в надлежащий порядок.

Меня и нескольких разведчиков Калугин забрал с собой в батальон.

Мы нашли его в глубине леса, значительно правее нашей телефонной трассы, километрах в двух-трёх от нас. Костров и шалашей не было. Бойцы сидели и лежали прямо в снегу. Раскинута была только одна палатка командира пехотного батальона.

В момент нашего прихода Ривьера читал, стоя перед палаткой, приказ по бригаде, напечатанный на тонкой бумаге на машинке, о наступлении на Извоз третьего батальона. Ветер трепал листки приказа. Кругом сидели, стояли, полулежали, вероятно, командиры рот и взводов, много было кругом народа. Я слушал конец приказа и смотрел на Ривьеру. У него было строгое волевое лицо с тонкими чертами, жёсткие серые глаза. Роста выше среднего. Должно быть, выносливый и, по-видимому, умный, решил я. Закончив чтение приказа, он, сложив его, добавил от себя какие-то не воспринятые мною краткие частные распоряжения и патриотические призывы. Понял я только, что путь предстоит лесом через деревни Большое и Малое Старо, занятые немцами. Впереди пойдут отдельная рота автоматчиков и батальонная разведка.

— Поднимайте батальон вперёд! — закончил он. Все зашевелились и постепенно стали приходить в движение.

— Подворачивай сюда свою связь, води её по следам батальона. Сам не отставай от Ривьеры, твоё место впереди, —

сказал мне командир батареи, собираясь, видно, тоже двигаться с батальоном, с его штабом и командиром.

Боже мой! Телефонисты углубились в лес уже километра на два и совершенно в ином направлении, чем путь, выбранный батальоном. Как же поступить? Повернуть линию связи сюда, под углом в девяносто градусов, — излишняя трата проводов, которых может быть в обрез, а может и не хватить! Свернуть связь, смотать на катушки — трата сил и времени, они тоже в обрез!

Решаю смотать проложенную линию опять на катушки, направляю двух разведчиков с этим приказанием вперёд, к Умнову и телефонистам.

— Знаешь, что? — говорит мне Калугин. — Твой Умнов как командир отделения связи не годится. Я решил разжаловать его в рядовые телефонисты. Кого предлагаешь вместо него назначить?

— Стегина, — отвечаю я, и мы кратко обсуждаем это. Я говорю о деловитости и аккуратности Стегина, отмечаю его хорошие хозяйственные качества. Калугин соглашается. Приходится догонять посланных разведчиков, собирать взвод и сообщать о замене Умнова Стегиным.

Тут же происходит очень краткая и условная приёмка и передача имущества связи и людей. Отдаю устный приказ о прокладке линии на Извоз по новому направлению. Судя по тому, сколь недалеко ушли мои телефонисты и как небрежно положили линию, убеждаюсь в неизбежности и правильности решения командира батареи.

Да, так воевать, как начали мы, нельзя. Связь — это нервы армии. Даю последние распоряжения и указания. Шагаю по свежим следам, нагоняя батальон и ушедшего с ним опять вперёд меня Калугина. Со мной разведчики и радисты. Через каждые полтора-два километра пути оставляем живой маяк в помощь телефонистам.

В деревне Малое Старо

Тяжёлый лесной путь в снегах шёл километра три прямо, потом повернул вправо, через большой, глубокий овраг, затем опять свернул влево. Вот и выход из леса, открытая поляна, за ней — деревня.

Недалеко от выхода из леса мы нашли зарывшийся в снег батальон, а на самой дорожке стояли Калугин и Ривьера.

Было ещё светло. Деревня как бы спала в снегах, притягивающая и страшная в своей неподвижности и кажущемся безлюдье. Оказалось, впрочем, что она уже взята нами. Многочисленные свежие лыжни вели к ней от опушки леса через поляну. Шедшая впереди на лыжах рота автоматчиков сходу вошла в деревню, потеряв при этом около шестидесяти человек убитыми и ранеными, снятыми немцами огнём из пулемётов. Немцы бежали или, говоря иначе, уехали на машинах, по-видимому, в Извоз или в расположенные вблизи Большое и Малое Стречно, потеряв при этом, как говорили, двух человек убитыми.

— Давай быстрее в деревню, там наши автоматчики, выбирай нам избу для ночлега, — сказал Калугин, ёжась от холода. Он, как я это давно заметил, был зябким, несмотря на то, что родился и жил в Омске.

Пехотному батальону по приказу Ривьеры не было разрешено заходить в деревню, чтобы не демаскировать себя, запрещалось также разжигать костры и выходить из леса. Лица бойцов в большинстве своём были угрюмыми и озлобленными. Читались на них усталость, голод и холод, а впереди — смерть.

Подобрав себе лыжи, опять из торчащих вдоль снежной тропки, мы двинулись в деревню. Ветер крутил на открытой поляне. Вот и первый сарай, избы.

У крайней большой высокой избы с крутой лестницей в светёлку стояла стройная и сучковатая сосна, удобная для наблюдения. Мы поднялись в светёлку. Кроме стариков там была поразившая меня своей редкой русской северной красотой молодая женщина (ну, как тут не вспомнить Некрасова?!). Она была высока ростом, хорошо сложена, с крупными чертами лица, носила распущенные до пояса густые чёрные волосы. Звали её Тамарой. Избу никто ещё не занял, и я решил в ней обосноваться.

Затем, взяв с собой Быкова, — нужно ли умолчать, что из всех ребят моего взвода я ему больше всех симпатизировал? — мы пошли знакомиться с окрестностями.

Деревня была цела. Все ворота и калитки были закрыты и накрепко заперты. Жителей на улице видно не было. Однако

герань в горшках и занавески за стёклами окон, срубленных высоко от земли, говорили о какой-то скрытой, затаившейся жизни. Пробовали стучаться — никто не открывал. Не проявляя в этом настойчивости, мы шли дальше. Наших автоматчиков — рассредоточились они или ушли куда-нибудь — тоже видно не было.

Большой овраг с крутым спуском и подъёмом отделял Малое Старо от Большого. На спуске, внизу, стояла небольшая рубленая баня, топившаяся, видно, по-чёрному. Деревни были окаймлены лесом, не подходящим нигде ближе, чем на пятьсот-восемьсот метров.

С левой стороны на поляне у леса стояла какая-то большая бревенчатая вышка, господствующая над лесом. Назначение её было мне непонятно.

Спустились в лог (овраг), поднялись в Большое Старо. Это уже, пожалуй, крупная, богатая деревня. Высокие дома. Железные крыши. Картина та же — ни души. Удары рукоятки моего нагана открыли, наконец, нам дверь в одну большую, на пригорке поставленную, зажиточную, по-видимому, избу. Хозяевами были древний старик с седой бородой и всклокоченными волосами и старуха; та покрепче, да и помоложе.

— Чёрт вас дернул прийти сюда, — набросился на нас старик, — жили бы мы жили, худо нам не было, и при немцах жить можно.

Старуха усиленно останавливала его, но старик разошёлся. Я был неприятно удивлён этим: недружелюбие было явным.

Поспешил кратко сказать, что ни на имущество их, ни на избу не покушаемся, к иным вразумлениям решил не прибегать. Почему? Слишком значительным и ужасным казалось переживаемое нами, чтобы пускаться в обсуждения или как-то иначе реагировать. Старик поворчал и смолк. Однако я потребовал, чтобы мне показали всю избу, светёлку, чердак и подпол. Оба отнекивались и не соглашались. Пришлось вынуть из-за борта шинели наган, молча повертеть его, посмотреть, все ли семь патронов в барабане. В подполе оказалась картошка. На чердаке — сено. Лазил к слуховому окну смотреть, как видны окрестности. Всё лес да лес. Ни Извоза, ни Большого Стречно не видно. Может быть, на крышу забраться? Да снега полно там. Стал расспрашивать — где Извоз, где Стречно, далеко ли? Отвечали неясно и неохотно. Слова не вытянешь!... Быков сидел на лавке у двери, бледный и усталый, с зажатым между ног карабином, молчал. Как же есть хотелось! Однако ничего не попросили, не взяли, только тяжело и неотступно думали о картошке.

По дороге обратно к избе, где остались наши разведчики, дважды пришлось прижиматься к домам, хоронясь от проносившихся низко над деревней самолётов. Истребители “мессершмидты”, конечно. Огня они не вели, улицы деревни по-прежнему были безлюдны. Только у избы нас встретил Афонин, который сообщил, что командир батальона проводит наверху совещание, и их оттуда выпроводили.

По узкой деревянной скрипучей лестнице я поднялся в светёлку. За большим столом сидел Ривьера, рассматривая разложенную на столе военно-полевую карту. Рядом с ним сидели и стояли командиры в белых маскостюмах с автоматами и без них. Из командиров я узнал старшего лейтенанта Ткаченко, с крупным суровым лицом и небольшими рыжими усами, командира отдельной роты автоматчиков, а также командира взвода разведки стрелкового батальона, нашего Калугина и некоторых других. Были там и бойцы охраны с винтовками или автоматами и с подвешенными к поясу ручными гранатами. Обсуждался план наступления батальона на Извоз. Говорил Ривьера. Он говорил уверенно и увлечённо, делая упор на тщательность подготовки наступления, на ответственность каждого за выполнение плана, на важность артиллерийской подготовки, разведки направления и о прочем в том же роде.

Я стоял несколько поодаль, не имея возможности приблизиться и посмотреть карту, старался повнимательнее прислушиваться и понять план артподготовки. Командир батареи Калугин был в первых рядах, недалеко от Ривьеры.

В соседней комнате временами шуршали хозяйева дома, несколько раз выходила и спускалась вниз, приковывая к себе взгляды многих, Тамара. Потом она даже стояла в стороне, баюкая на руках своего младенца. Невольно я заметил, что особенно жадный и упорный взгляд часто бросает на неё старший лейтенант Ткаченко.

Стало, наконец, понятным, что батальон останется в лесу, в деревню втягиваться, ввиду возможности бомбардировки её с воздуха, не будет, что наступление намечается осуществить на рассвете следующего дня, т.е. 24-го февраля, что ночью по Извозу должен вестись нашей батареей методический артиллерийский огонь. Совещание подошло к концу. Завершил его Ривьера словами: “Приказ о наступлении будет, теперь давайте подкрепимся”. Вслед за этим на столе появилась белая эмалированная миска с макаронами, большая сковорода с жареным картофелем, чёрный хлеб и бутылки с водкой.

Ко мне подошёл Калугин.

— Связь есть? — спросил он, играя скулами в явном

предвкушении еды с выпивкой.

— Нет ещё. Тянут, — ответил я, думая, что совсем мало надежды оказаться приглашённым к столу командира батальона.

— Давай связь, идите отсюда, — приказал Калугин, выдворяя на улицу и меня, и пробравшихся сюда рядовых моего взвода. На душе осело горькое чувство от неотступно стоявших в памяти выставленных на стол яств и давно мучившего желудок лютого голода.

Темнело. Телефонистов со связью всё ещё видно не было. А ведь тянет связь Стегин — это внушало надежду. Пришлось направить в лес навстречу и в помощь телефонистам двух разведчиков своего взвода с приказанием поторопиться. Слишком ярким был только что пережитый кошмар с прокладкой связи на Хмели и к Избытову. Разведчики побрели медленно и неохотно.

Снова полез на сосну, по моему приказанию, Афонин. Нужно же было до наступления темноты как-то ориентироваться, разобраться — где Извоз, где Стречно. Забрался Афонин, рассказал, что вправо за лесом чуть-чуть видны крыши домов. Должно быть, Извоз. Кругом леса да леса. Вскоре спустился. Пошли искать другую избу для пристанища и ночлега. Подыскали невдалеке по улице, в Малом Старо. Хозяйка-старуха пустила охотно, мужского населения в доме не было. Были дети, старшей девочке лет двенадцать. Рассказала, всплакнув, что зять в партизанах, а дочку расстреляли немцы.

— Всё приходили к нам, спрашивали: “Любишь, любишь, помогать не смей!” А как не помогать, сердце-то не камень, еду ему за околицу ночью выносили, а то, бывало, из леса когда и домой проберется. Нашлись люди, доносили немцам. Снова приходили: “Обманываешь! — говорят, — ведь любишь, еду носишь!” Уж как отрекались, так нет, выследили. Сход собрали, на площади вон, за баней. “Что, — спрашивают, — делать с ней? Обманывает нас. Партизанам, что в лесу хоронятся, помогает”. Ну, и решил сход... — старуха снова заплакала.

Договорившись о ночлеге и оставив в избе отогреться своих разведчиков, я отправился к командиру батареи. Опять скрипучая лестница с крутыми ступеньками. Народу в избе было уже значительно меньше, яств на столе не было, однако пьяный шум и пустые бутылки свидетельствовали о проведённом вечере. Тускло горела керосиновая лампа, слабо освещая светёлку. Калугин встретил меня. Был злой и пьяный. Я доложил ему о вновь выбранной избе для ночлега.

— Где связь? — вместо ответа грозно спросил он.

Я сказал о посланных разведчиках. Узнав, что связи ещё нет, Калугин пришёл в бешенство. Он начал кричать и, густо

матерщина, ругаться. В криках всё время летало: “расстреляю!”, “к ёлке поставлю!”, “под суд отдам”, “чтоб к двенадцати связь была”.

Я вышел оттуда не только крайне утомлённым, но и в сильном нервном расстройстве. Зашёл в избу к своим ребятам. Они спали, одетые, на полу. Хозяйские дети возились на печке, старуха копошилась за перегородкой. Разбудил своего помкомвзвода Козлова. Сказал ему, что ухожу в лес разыскивать телефонистов, беру с собой двух разведчиков. Спустились с крыльца, лыж не взяли. Из оружия у меня — только наган. Пошли по знакомой лыжне, превращённой уже в тропку, через поляну, временами глубоко проваливаясь в снег. В темноте ярко светили нам щедро рассыпанные по небосводу звёзды. Приближавшийся к нам с каждой минутой лес пугал своей темнотой и жуткой неизвестностью. Не сбиться бы с пути, упаси Бог! Не перепутать бы пройденную один раз днём дорогу. Но без телефонистов и связи я не вернусь! Нельзя вернуться. Только бы не заблудиться! Так в лесу и застала нас ещё одна чёрная морозная ночь. Засыпанные снегом ели и сосны. Блуждание по тропкам. Батальон куда-то ушёл или в сторону сместился. Ни людей, ни шалашей, ни костров на пути. Время уже за двенадцать перевалило.

24 февраля 1942 года

Поздно ночью, переправившись через лестой овраг, мы встретили, наконец, Стегина и двух телефонистов. Отвечая на мои полные отчаяния упрёки, он стал подробно разъяснять, что у намотанного на катушки телефонного провода обрыв за обрывом, приходится соединять, делать скрутки, периодически прозванивать, проверяя проложенную линию. Я убедился, что прокладывает связь он умело и надёжно, однако дело подвигается медленно из-за крайней усталости людей, темноты, снега и мороза. По расчётам Стегина, они протянут линию до Малого Старо только к утру.

Решил взять на себя руководство прокладкой линии и не покидать телефонистов. Двигались шаг за шагом. Организовали охрану и проверку линии. Однако нельзя сказать, что работа заметно ускорилась. Не раз приходилось возвращаться, проверять расставленные посты, включаться в линию. Под утро наткнулся на просящуюся на полотно такую картину: артиллеристы второй батареи (лейтенанта Шароварова), идя по проложенному нами пути, на руках спускали в овраг пушку. Выпряженные лошади стояли тут же, обглаживая кору деревьев и захватывая зелёную хвою. Шума при спуске пушки, завязшей в снегу, было много. Но куда и с какой целью направлялась вторая батарея, где были её остальные оружейные расчёты, — непонятно, впрочем, нам было не до этого. Уже светало. Полночь давно минула.

Когда мы вывели линию связи на поляну, было уже позднее утро. До деревни теперь, казалось, рукой подать. Убедившись, что почти всё уже сделано, я решил покинуть телефонистов и пройти вперёд. Поднялось солнце. Несмотря на морозный день, оно ласково осветило деревню и подступивший к ней лес.

Вот и знакомое крыльцо с резьбой, выходящее в неогороженный двор, лыжи, валяющиеся в снегу, две ступеньки. Открываю дверь и вхожу. Впереди, у окон, за простым крестьянским столом сидят трое мужчин с обросшими лицами, один — с густой чёрной бородой. Моих ребят нет. На столе дымит большая сковорода с жареным картофелем, лежат большие краюхи чёрного хлеба. Оторвавшись от еды, все сразу повернули ко мне свои лица и тут же дружелюбно, даже с подобострастием заговорили:

— Заходи, товарищ начальник, заходи! Садись, откушай с

нами!

Старуха-хозяйка суежилась тут же.

— Кто будете? — спросил я, в свою очередь, ещё раз отряхивая валенки и развязывая под подбородком тесёмки ушанки.

— Партизаны мы, товарищ начальник, партизаны!

— Вот этот — зять мой будет, — добавила старуха, указывая на мужика с небольшой бородкой.

Подумав немного, я, не торопясь, подсел к ним. Старуха принесла мне деревянную ложку, угостили толстым ломтем хлеба. Ели все быстро и с аппетитом, сковорода скоро опустела.

Из немногословного разговора я узнал, что боевых дел за ними не водится, что партизаном себя называл только зять старухи, двое других предпочитали говорить, что они просто в лесу от немцев скрывались. Однако все из этой деревни, друзья или родственники — ясно не было. О себе говорили мало, сдержанно, не хвастались, больше старались мне угодить, величая нас избавителями, обещали, принижая голос, разоблачить здесь многих.

Где же мои ребята, разведчики? Из объяснений старухи я понял, что приходил сюда командир батареи и увёл их куда-то. На время, видно: телефонный аппарат, неподключенный, стоял с краю, на печке.

Вскоре я вышел на улицу, встретив тут же Калугина, Козлова и разведчиков. Связи с батареей все ещё не было, однако Калугин был трезвым и мирным. Ходили они “пикировать” за пустыми катушками нашего батальона связи, брошенными на улице телефонистами.

— Давай-ка ты теперь включайся, там ещё стащить можно, — сказал мне Калугин.

Я рассказал ему о встрече в избе с партизанами, и он тут же отправился доложить о них командиру пехотного батальона. Вскоре за ними пришли и увели их в штаб батальона, в избу с высокой лестницей. Главной причиной мирного настроения Калугина был, по всей вероятности, наполненный желудок, уверенность в том, что связь скоро всё же будет, и решение Ривьеры отложить наступление на Извоз на сутки.

Утащив ещё несколько катушек, принадлежавших батальону связи нашей бригады, я снова оказался с разведчиками в избе партизана. Сон одолевал меня, я задремал, сидя на лавке.

Когда солнце поднялось высоко, к нам пришёл Калугин.

— Давай-ка собирайся, — обратился он ко мне, — сейчас к Извозу идёт батальонная разведка с партизаном, пойдёшь с ней вместе, наметишь там место для передового наблюдательного

пункта, узнаешь дорогу на Извоз и местность.

Я молча поднялся, тут же вышел во двор надевать и подгонять на себя лыжи.

Через несколько минут вышел следом за мной Калугин. Оглядев меня, уже стоявшего на лыжах, сказал:

— Знаешь что, пусть лучше Козлов пойдёт в разведку, а то гляжу на тебя, ты, видно, еле на ногах держишься. Оставайся-ка, налаживай здесь связь с батареей, вечером стрелять будем.

Я устало и безучастно согласился с тем, что, действительно, еле-еле на ногах стою, и что невыносимо спать хочется. Позвали Козлова. Он спал на полу избы в это время. Козлов быстро надел лыжи, взял карабин, бинокль — ему дал его командир батареи, и, расставив палки, стал спускаться на улицу, где уже собралась батальонная разведка. Мы вышли проводить их. Отправлялось пять человек: лейтенант — командир взвода разведки батальона, два его бойца с автоматами, партизан и Козлов. Вот они ловко скатились на лыжах в лог, поднялись в Большое Старо, пошли по улице к околице. Командир батареи снова пошёл в штаб батальона, к Ривьере, я вернулся в избу, где тут же свалился на пол поспать.

Проснулся я часа через полтора: дверь открылась, ввалился, весь в снегу, партизан.

Он громко охал, потирал бок и ногу, ругал “проклятого финна”. Я вскочил и быстро подошёл к нему, спрашивая, что случилось. Поднялись бывшие тут же два бойца из моего взвода.

— Проклятый финн, — рассказывал партизан, — в засаде сидел, в сугробе. Впереди шёл я, за мной ваш помкомвзвода Козлов, потом командир взвода разведки и два автоматчика. Так он пропустил нас вперед, а потом как даст очередь из автомата — так всех и уложил. Я оглянулся, гляжу — на лыжах за нами с автоматом финн несётся, глаза горят, вылупил их, аж страшно. Сперва троих, что сзади шли, снял, потом Козлов упал, так он, сволочь, ещё по лежащим очередями из автомата... А я как упал, так скорей, скорей — тут канавка была — в лес, под откос скатился, не заметил он, видно, меня, да вот разбился весь, еле добрался...

— Быстро к Ривьере, бегом, доложи, — сказал я стоявшему рядом своему разведчику Смирнову. Тот выскочил из избы.

— Так никого в живых не осталось? — продолжал расспрашивать я партизана.

— Кроме меня, никого, — говорил он, больше охая и жалуясь, чем вдаваясь в подробности.

— А как далеко отошли, где это дело случилось? — спрашивал я. Партизан пил из ковша поданную старухой воду.

Через несколько минут несколько автоматчиков пришли со Смирновым и повели партизана в штаб батальона, к Ривьере.

Пришёл Стегин и телефонисты. Заговорил, зазвонил телефон: наладилась связь с промежуточной, там сидели Умнов и Колесов, а через неё — с батареей. Прибежали рыскавшие где-то разведчики моего взвода: сказали, что Козлов приполз, ранен, везут в санбат. Я побежал к избе, где были Калугин с Ривьерой. Лошадь с санями, в которых лежал на спине Козлов, уже трогалась в путь к лесу. Козлов был мертвенно бледен, временами стонал, глаза были закрыты. Расспрашивать его мне не пришлось. Рассказали, что сторожевой пост наших автоматчиков на околице заметил кого-то, ползающего по снегу около леса. Пошли на лыжах, притащили Козлова. Разрывная пуля из автомата раздробила ему плечо и лопатку. Говорили, что он успел рассказать, как выскочил финн из засады и как уложил троих. Раненный, он упал, притворившись мёртвым. Финн взял его бинокль, карабин не взял, ушёл, порывшись в полупустой сумке от противогаза, полистав и выбросив на снег пустые тетради. Так с карабином и приполз Козлов к опушке леса, откуда взяли его наши автоматчики. Сходил я в Большое Старо. Увидел ветхий сарай на околице. У сарая стоял обращённый к лесу станковый пулемёт. В сарае дежурили, просматривая через щель снежную поляну и лес, два наших автоматчика. Но они были уже из другой смены, новых подробностей не узнал, посмотрел на тропку, на лес, на лыжни, вернулся обратно. Думал о Козлове и его судьбе. Ведь если в живых останется, то правой-то руки обязательно, говорят, лишится. Связывал происшедшее здесь с тем, что произошло в Москве.

Калугин почти не выходил из избы, сидел наверху, в светёлке, с Ривьерой и его штабом. Отдал, однако, мне приказание: протянуть связь к сосне, что рядом с избой стояла, и до захода солнца прочесать лес перед Извозом щрапнелью. Тут, от избы к избе, тянуть связь было уже недалеко, и вскоре под сосной уже сидел телефонист с полевым аппаратом.

В это время над лесом, довольно низко, летел большой немецкий самолёт, кажется, “юнкерс-88”. Сидящие в лесу пехотинцы-бронбойщики стали стрелять в него, он тут же задымился, пошёл на посадку и сел на поляне у леса. Самолёт быстро охватило пламенем: то ли в бензиновый бак бронбойщики попали, то ли экипаж, видя безвыходное положение, поджёг машину. Десять автоматчиков отдельной роты старшего лейтенанта Ткаченко во главе с командиром взвода побежали на лыжах к самолёту.

Я смотрел в бинокль. Четыре фигуры отделились от

пылающего самолёта и заковыляли в лес. Вскоре их окружили наши автоматчики. Лётчики не сопротивлялись, по-видимому. Через несколько минут до нас долетел звук выстрела из нагана — один из немцев остался лежать в снегу. Около него что-то долго возились. Трое остальных, взятые в полукольцо автоматчиками, как могли, торопливо брели к нам, проваливаясь в снег. Когда их ввели в избу, Афонин полез на сосну, успев уже узнать, что четвёртый лётчик сломал при посадке ногу с открытым переломом. Остальные трое пытались его тащить, просили автоматчиков, чтобы разрешили им дотащить его до деревни. Но лейтенант выстрелом в ухо уложил его на месте. Принесли снятую с убитого меховую куртку и меховые сапоги с отворотами.

Вышел Калугин, позвал меня в избу. Снова я поднялся в светёлку. Три немца-лётчика, без головных уборов, стояли перед столом, на котором была развернута карта, вытянувшись перед Ривьерой, сидящим с другими комнадирами. Шёл допрос. Ривьера тыкал в карту пальцем, немцы сколонялись над ней, непонимающе пожимали плечами. Никто не знал немецкого языка. Немцы не говорили по-русски.

— Давай, поговори с ними, ты понимаешь по-немецки, — подталкивал меня к столу Калугин.

— Нет, нет, — решительно отвечал я, — ей-ей не могу говорить, ничего не понимаю, я же три-четыре слова по-немецки не склею.

Калугин настаивал, я категорически отвергал это. Сумели мы понять, наконец, что лётчики везли в Германию сено, что самолёт их — транспортный, куда везли — место называли, а с какого аэродрома — показать по карте не могли, отказывались. Документов при них никаких не было: всё сожгли, должно быть.

Солнце садится, скоро темнеть будет. Надо открывать огонь по Извозу. Афонин либо замёрз на дереве, либо уже слез с него. Эти соображения отрезвили Калугина, и он отпустил меня, чем я был очень доволен.

— Иди, иди, прочеши огнём лес, подготовь путь для наступления батальона, снарядов не жалея, — сказал он мне. Я быстро спустился по лестнице из светёлки.

Прошло несколько минут, и правее нас со свистом пронеслась шрапнель. Разорвалась высоко над лесом. Я ходил под сосной, привычно и уверенно командовал:

— Основное первое... Веер!.. Прицел... Угломер... Трубка...

Команды повторял за мной полулежащий под сосной телефонист.

— Ну, как? Что видишь? — спрашивал я ежеминутно Афонины, но тот, это было ясно, видел слишком ограниченно и

мало. Расположение деревни, где-то там за лесом спрятавшейся, представлялось смутно и неясно. Наблюдательный пункт на сосне был, очевидно, неудачным, обзор с него — недостаточным. Однако другого выхода не было. Я ещё днем просил Калугина, чтобы он разрешил попробовать наблюдать с четырёхногой деревянной вышки, стоящей на полянке и возвышавшейся над лесом, но он оборвал меня словами: “Да ты что, с ума сошёл?” Больше я к нему не обращался. Может быть, с крыши дома, где мы были с Быковым, в Большом Старо, — он стоял на самом возвышенном месте деревни, — наблюдение было бы удобнее? Не знаю. Солнце заходило за лес, становилось холоднее. Я перенёс огонь батареи, кстати говоря, уже достаточно интенсивный, теперь всеми четырьмя орудиями, за лес, за деревню, на её огороды, как представлялось мне, — тщательно записывая в полевой блокнот нужные ориентиры, величину угломера, прицела, установку дистанционных трубок для стрельбы шрапнелью.

В это время из избы вывели троих пленных немецких лётчиков. Они были хорошо одеты, в меховых сапогах и куртках, но головных уборов прочему-то на них не было. Мороз стоял изрядный, побольше, чем двадцать градусов. Впереди шёл высокий, с рыжими волосами, с серыми надменными глазами, с крупным носом и с тонкими породистыми ноздрями. “Баварец или саксонец”, — подумал я. За ним шли два автоматчика. Его лицо было сосредоточено и серьёзно. Он пошёл по направлению ко мне, но автоматчики живо прерадили ему дорогу, показав обратно — на тропку, ведущую

в лес. Он мотнул головой в знак того, что понял, повернул и пошёл по тропке, сопровождаемый автоматчиками. Вышла небольшая заминка, так как он пытался что-то сказать, объяснить, видимо, просил разрешения подождать своих товарищей, но подталкивание автоматами вынудило его двигаться к лесу по тропке.

— Куда повели? — спросил я кого-то из оставшихся автоматчиков.

— В штаб бригады, для допроса, — ответили мне.

Следом за первым вывели двух оставшихся. Их сопровождало человек десять автоматчиков.

Пленные немцы снова двинулись вперед, к сосне, у которой стоял я и сидел телефонист, передавая на батарею мои команды. Эти были с тёмными волосами, значительно ниже ростом, чем первый. В нескольких шагах от нас они остановились в недоумении: куда идти? Оглядывались на тропку, по которой повели их товарища.

Автоматчики взяли их в тесное полукольцо и, показывая на лес, недвусмысленно предлагали им идти туда, подталкивая их автоматами. Несколько минут они топтались на месте, действительно, по-видимому, ничего не понимая. Но автоматчики действовали всё настойчивее. И немцы поняли. Тот, что был пониже ростом, быстро заговорил по-немецки:

— Ich bin Arbeiter, ich bin Arbeiter. Ich werde bei Ihnen arbeiten, — разобрал я из того, что он говорил. Автоматчики толкали их в снег. Тогда низенький быстро полез в какой-то внутренний карман куртки, вынул оттуда небольшую пачку любительских, но хорошо сделанных фотографий, стал показывать их автоматчикам. На фотографиях был снят он с женой и двумя детьми в домашней обстановке. Один из автоматчиков вырвал фотографии из его рук, швырнул их в снег, а самого сильно толкнул в спину прикладом. Тот заплакал, совсем как ребёнок, и упал головой на плечо, по-видимому более сильного духом своего товарища.

Тот обнял его, стал что-то говорить ему по-немецки. Оба двинулись неуверенно, утопая в снегу по самый живот, как-то сразу обессилив, обмякнув.

Один шаг, другой, третий... Автоматчики стояли молча и неподвижно. Ещё шаги. Ещё минута.

— Огонь! — скомандовал кто-то.

Воздух и тишину разорвал треск непродолжительной очереди из автоматов. На снегу остались два комочка.

Кто-то стал собирать фотокарточки.

— Не надо, не берите, — почему-то сказал я своим ребятам.

Солнце спряталось. Стало темнеть. Я дал ещё несколько батарейных залпов, скомандовал “дробь”, дал отбой батарее, приказал Афонину спускаться.

У трупов уже копались, раздевая их, конечно, не из моего звзда ребята.

Поднявшись в светёлку, я доложил командиру батарее о прекращении огня, о количестве израсходованных снарядов, о том, как вёл огонь. В ответ он приказал прийти к двадцати двум часам: Ривьера прочитает приказ о наступлении, даст указание об артподготовке.

Ткаченко сидел в меховой куртке, снятой с убитого лётчика. Мы свернули связь и пошли в гостеприимную избу партизана.

А думы мои в тот вечер?.. Не буду описывать их. Есть вещи, о которых можно думать, но не говорить, или только говорить, а не писать. Это следует всегда помнить и стараться выполнять.

К двадцати двум часам я, взяв с собой Быкова, направился на совещание, снова поднимаясь по лестнице в полутёмную

светёлку. Ривьера изложил план наступления, из которого я мало что понял, часто обращался к старшему лейтенанту Ткаченко и к недавно вернувшемуся из разведки новому командиру взвода. После недолгого обсуждения прочитал короткий приказ о наступлении, подробно коснулся плана артподготовки. Калугин во всём поддакивал ему. Предлагалось с двадцати трёх часов нам, артиллеристам, снова прочесать лес шрапнелью. К двадцати четырём часам вывести батальон из леса, с тем, чтобы, пройдя Малое Старо, он снова бы углубился в лес, ведущий к Извозу. Дальше до четырёх часов утра вести методичный, беспокоящий огонь по Извозу. Последние двадцать минут вести максимальный, “ураганный” огонь по переднему краю германской обороны.

В четыре часа ночи — полное прекращение артиллерийского огня и атака батальона.

Я пробрался к Калугину и пытался горячо выразить ему своё недоумение странным приказом: ведь вести наблюдение и корректировать артогонь ночью мы совершенно не способны! С какого наблюдательного пункта можем мы осуществить это, если наш телефонный аппарат стоит на печке, а связь с батареей ведётся только из избы партизана? Будет громадная трата снарядов, причём очень возможно, что бесполезная, наконец, можно и в своих угодить, стреляя так в божий свет, как в копейку! Командир батареи грозно одёрнул меня: “Не суйся!” (от него пахло водкой) и тут же с некоторой торжественностью стал заверять Ривьеру, что всё будет, как намечено, что артиллеристы не подкачают, и что он полностью доверяет мне (тут Ривьера впервые оглядел меня серьёзно и с заметным уважением), сам-де будет с командиром батальона, не покинет его. “Кого возьмет для связи?” — мелькнуло в уме, но я не спросил его об этом. Меня и Быкова вслед за этим выпроводили, предложили идти готовиться выполнять приказ.

Взошла уже луна и сказочно красиво освещала как бы спящую, совершенно тёмную деревню, когда мы медленно брели обратно.

Состояние у обоих было угнетённое, подавленное, как от собственных дум и усталости, так и от мучительного чувства голода. Когда и что мы ели?..

Дорогой я поделился с Быковым своими соображениями о том, что, как бы ни хорошо был разработан план наступления батальона, нельзя сбрасывать со счёта то обстоятельство, что краснофлотцы — бойцы батальона — третьи сутки в лесу, на морозе, без костров, вероятно, без пищи, и если Ривьере с его штабом тепло и уютно в крестьянской избе, даже, как видно, не голодно, то это не в пользу предстоящих событий. Больше же

всего мучил вопрос, как вести, как корректировать артогонь из избы ночью? Быков печально соглашался со мною: хоть в этом была мне поддержка.

В двадцать три часа снова загудели снаряды, снова шрапнель стала рваться над лесом. Я передавал команды телефонисту, слушал, как принимали их на промежуточной, потом на батарее, а в момент залпа выходил из избы на середину двора или на улицу, чтобы хоть что-нибудь увидеть. Видел ли? Да, видел. Но всё же это была стрельба по интуиции, а не по наблюдениям, что было мне мучительно неприятно и странно.

В двадцать четыре часа я перенёс огонь значительно дальше, — предполагал, что на деревню, — давал залпы через три, через пять, потом через десять минут, как приходило в голову. Иногда делал перерыв минут на пятнадцать-двадцать: подсчитывал израсходованный боезапас, сличал свои расчёты с расчётами на батарее. Одолеvalo крайнее утомление. Достаточно было мне выйти из избы, проверить залп, прислушаться к разрывам или понаблюдать высокие разрывы шрапнели, как, возвратившись, заставлял уже телефониста спящим с трубкой у уха. Расталкивал его, сам чувствуя полное изнеможение. Ночь была какой-то кошмарной, бессмысленной и бесконечной.

В третьем часу ночи деревня стала заполняться пехотинцами — стрелками батальона. Они были звероподобны — трудно подыскать иное, лучше определяющее слово. Шли, спотыкаясь, промёрзшие, не спавшие, измученные, без всякого, конечно, строя, молча, страшно, до боли в сердце напоминая скот, гонимый на бойню. Некоторые, видя нас, сворачивали, несмотря на окрики, заходили в избу и падали на пол, охватываемые сном.

Командиры отделений и взводов молча поднимали их с пола пинками, заставляли выходить и идти дальше. Батальон прошёл. Я убавил прицел и усилил огонь, перейдя на гранаты. Замена телефонистов не помогала. Трудно описать наше крайнее утомление.

Вскоре в избу ввалился сильно пьяный командир батареи Калугин. Он совершенно не держался на ногах и что-то бормотал бессвязно. Повалившись на пол, он захрапел.

Не раз приходилось мне брать трубку аппарата у телефониста и передавать команды самому. Часто смотрел на часы. Время тянулось бесконечно долго. Около четырёх дверь в избу открылась: ввалился весь в снегу пехотинец с винтовкой.

— Кто здесь...? — он назвал мою фамилию.

Я отозвался.

— Командир батальона приказывает немедленно прекратить огонь.

— Есть прекратить огонь. “Дробь!” — скомандовал я на батарею.

Пехотинец вышел. Телефонист окончательно заснул. Заряжены ли пушки, пришлось уже узнавать самому.

Но, Боже мой, спать, спать, как смертельно спать хочется!

Бодрствующих в избе не осталось. Только позы разные, как у убитых.

Чуть брезжил рассвет, когда я, видно, очень немного поспав, проснулся от топота ног, бежавших по улице. Топот был не частым, но таким явственным и почему-то страшным, что сон пропал, и я бысто вышел на улицу. В утренней мгле довольно редкие пехотинцы с винтовками в руках быстро шли или бежали от Извоза из леса, куда так недавно втянулся батальон.

— Стой! Куда бежишь! Что случилось? — удалось мне приостановить одного из бежавших.

— Немцы, немцы, разгром, — как-то дико и хрипло ответил он мне.

— А где командир батальона?

— Командир батальона убит, командиры рот все убиты, нет больше третьего батальона.

Пришлось силой поднять всех спящих в избе. Поднялся и Калугин, побежал в штаб.

Третий батальон, сформированный в Москве, в Хамовнических казармах, кончил существовать под Извозом. Тело Ривьеры найдено не было. Лесная трагедия осталась мне даже в небольших подробностях неизвестной.

В путь с первым батальоном

День 25-го февраля выдался ясным, солнечным и морозным. С утра по улицам Малого и Большого Старо усиленно патрулировали стрелки отдельной роты автоматчиков. Не раз встречался я с командиром роты старшим лейтенантом Ткаченко, в рыжей меховой куртке, лётных унтах и чёрной морской шапке.

Небо часто рассекали пролетавшие низко и с большой быстротой “мессершмидты”.

Пришёл в деревню капитан Фокин, с ним вместе — командир первого пехотного батальона Михаил Арсентьев, или Витязь, как его звали по линиям телефонной связи, русский, невысокий ростом, злой и часто матерящийся. Я знал, что он раньше был командиром в бригаде торпедных катеров Черноморского флота, знал, что основные силы первого батальона, сформированного в Москве из моряков-торпедистов, остались навеки лежать в тельняшках, бушлатах и бескозырках под селом Залучье, что севернее Избытова и на пятьдесят километров южнее Старой Руссы.

Не поддержанные ещё огнем первой батареи лейтенанта Соколова, моряки пошли в атаку через густые минные поля на ледяные валы немецкой обороны с многочисленными пулемётными и миномётными гнёздами.

С Витязем пришёл комиссар батальона Булыгин, командиры и работники штаба, стрелки охраны и разведки. Они разместились в большой избе на той же улице, где мы находились, и я сходил навестить их.

Высокий, добродушный и громогласный, как протодиакон, Булыгин сидел с босыми ногами и сушил портянки. Он громко приветствовал меня, приглашал садиться, как в доброй домашней обстановке, хотя садиться было некуда и не на что, а пол был занят стоящими и спящими с оружием

в руках и на поясе бойцами.

Командир батальона тоже подошёл к нам, больше молча слушал и разглядывал меня, впрочем, расспросил, как дела у нас со связью, с боезапасом, сможем ли мы поддержать их наступление на Извоз. Односложно отозвался о гибели под Извозом третьего батальона, слегка ругнул Ривьеру и его штаб, замолчал и отвернулся. От Булыгина я узнал, что их батальон, точнее, его остатки, тоже в лесу пока остались, в деревню не заведены. Я откровенно высказал Булыгину, такому большому и симпатичному, простому в обращении человеку, свои взгляды на причины неудачи ночной атаки на Извоз. Сводились они к

известным словам песенки:

*“Гладко было на бумаге,
Да забыли про овраги,
А по ним ходить...”*

Тут я узнал от Булыгина, что они ждут подкрепления. Говорят, уже пришёл маршевый уральский батальон лыжников, сформированный в Свердловске. Он должен подойти и пополнить их роты. Сейчас предполагается наступление батальона не на Извоз, а на Большое Стречно. Разговаривать с ним было приятно, так как он казался общительным и сердечным человеком. Может быть, не “казался”, а на самом деле был таким. Я не был к нему близок, хорошо не зная его. Он расспросил, где мы базируемся, а когда узнал, что в доме партизана, то сообщил, что партизан уже доставлен в штаб бригады для допроса в связи с гибелью батальонной разведки; будет, по всей вероятности, расстрелян.

В доме, где разместились Витязь и Булыгин, было шумно и многолюдно. О многом хотелось расспросить добродушного и словоохотливого комиссара батальона, но многолюдство мешало, многие спали на полу, обнявшись с автоматом или винтовкой.

Хотелось спросить и посмотреть оперативную карту, узнать, кто наши соседи, в состав какой армии мы входим, верно ли, что в первую ударную армию генерал-лейтенанта Морозова, как говорил мне воентехник в деревне Большие Жабны. Хотелось узнать, где находится штаб бригады, и т.п.

Пришлось, однако, их покинуть и вернуться в избу партизана. Она оказалась занятой командиром артдивизиона Фокиным и его штабом. Нам, т.е. мне и бойцам моего взвода, он тут же предложил выселяться, добавив, что моё дело — пойти в разведку, наметить и оборудовать себе наблюдательный пункт, организовать наблюдение за деревней Большое Стречно одновременно с наблюдением за Извозом.

Куда идти? По какой дороге? Неужели по той, по которой так неудачно шёл Козлов с партизаном и другими? На эти вопросы Фокин, только что пришедший в деревню, не мог дать никакого ответа. “Давай, давай, иди, не задерживайся”, — вот несложный свод всех его приказаний. Взяв

с собой в этот раз разведчика Смирнова как самого опытного, храброго и рассудительного, намой взгляд, я отправился через лог в Большое Старо. Брать с собой двух, трех бойцов или больше мне представлялось как ненужной тратой таких дорогих сейчас людских сил, так и небезопасным. Из такой совершенно слепой разведки большая вероятность вообще не вернуться, так лучше уж

пусть два, а не три и не четыре человека погибнут. Вот дошли до знакомого сарая на околице, в котором находится передовой пост с пулемётом. Из сарая вышел автоматчик, справился, куда идём, предупредил: “Впереди охраны нет — немцы!” Попросили его поддержать, если потребуется, из пулемёта.

Опять высоко стояло солнце, и искрился, слепя глаза, снег, когда мы, как могли поспешно, чтобы не попасться самолёту, переходили поляну, по которой так недавно тянули из леса Козлова с разрывной пулей в лопатке. Вот первые молодые сосенки, узкая, почти нехоженная тропка. Как же на душе жутко, причём чувствую затаённый страх даже в Смирнове. Идём, особенно пристально и внимательно присматриваясь ко всему окружающему.

Идти тяжело. Прошли с полкилометра — стали выбирать себе сосну для ПНП. Дело оказалось сложным. Не подойдёшь никак — утонешь в снегу, да и вперёд смотреть да смотреть нужно. Страх проник в душу, прочно осел там. Чем дальше и дальше продвигаешься в глубь таинственного “чужого” леса, тем становится всё более жутко. Ведь где-нибудь да должны мы увидеть или встретить “их” передовой пост, или патруль, или засаду?

А нас только двое, да и что за оружие у нас? У Смирнова — карабин, как положено всем артиллеристам, у меня автомат ПППШ с одним диском, чужой, взятый “напрокат”, из которого не стрелял ни разу, да наган за бортом шинели. Этот хоть свой, личный.

Дорога уходит влево. Неожиданно сзади нас появляется человек. Приближается быстро, бежит, спотыкаясь в глубоком, не утоптанном снегу. Мы остановились, насторожились, ждём. Успокаивает мысль, что идёт он со стороны Большого Старо.

...Наш! Маленький ростом краснофлотец, в масккостюме, с винтовкой и термосом за спиной.

— Кто будешь и куда спешишь? — спрашиваю я его.

— Из первого батальона, баланду нашим несу в Избытово, — отвечает он.

— Как же попадешь туда, ведь тут, под Извозом, немцы?

— Как?! Как?! — чуть не всхлипывая, отвечает он. — Послали вот, значит, надо нести. Как?! — снова с горечью и неприкрытым чувством страха как-то передразнивает меня и снова бежит дальше, увязая в снегу.

— Так есть же другая дорога в Избытово, через Хмели, — говорю я.

— Велели здесь идти, сказали, короче, — не то всхлипывает, не то вскрикивает он, удаляясь от нас.

Мне становится стыдно за мой страх и малодушие. Впрочем, внешне ни я, ни Смирнов не проявляем их. Идём дальше.

Внезапно на дорожку перед нами обрушился шквальный огонь из миномётов. Немцы пристреляли дорожку и, увидев идущего впереди нас пехотинца с термосом, пытались обстрелять его минами. Однако проскочил он, по-видимому, эту зону смерти. Отбежав немного назад, мы остановились: может быть, остались незамеченными, и огонь сейчас прекратится? Нет, становится очевидным, что и мы замечены: разрывы мин быстро и точно приближаются к нам, как полоса дождя, чётко видимая на открытой местности. Стараемся быстрее уйти, в то же время неотступно думается: где же немецкий наблюдательный пост, и далеко ли стоят их миномёты? Свернуть с дорожки в сторону совершенно невозможно: снежная толща засасывает, как болото, делаешь совершенно беспомощным. Вот и опушка, поляна. По всему телу бежит нервная дрожь. Но показавшийся вдалеке сарай кажется спасительным, взгляд на него успокаивает: как-никак, там наши ребята, могут поддержать из пулемёта.

На поляне останавливаемся — минута раздумья: что же делать дальше? Снова по дорожке идти — опасно, да и подходящих сосен нет. Советуюсь со Смирновым. Решаю возвратиться в Большое Старо, забраться в избу к крестьянину (где был я с Быковым), попытаться оборудовать наблюдательный пункт на коньке крыши.

Возвращаемся в деревню. Снова мы в избе, опять глухо ворчат хозяева, однако Смирнов уже на крыше: делает лопаткой ступеньки в снегу, место для укрытия и наблюдения.

Пока он орудует на крыше, я веду разговор со стариками. Они достаточно откровенно сочувствуют жившим тут несколько месяцев немцам, говорят, что немцы не притесняли их, что в основном вся деревня была довольна, многие, прельстившись обещаниями и надеждой, добровольно улетели в Германию.

Разговаривая с хозяевами дома, стараюсь не раздражать и не озлоблять их, а расположить в нашу пользу.

— Как же так? И вы, и мы люди русские, — говорю я, — очень трудно и нам, и вам приходится. А вот мы духом не падаем, немцам сдаваться не собираемся, умрём скорее.

В конце концов, чувствую, что что-то достигнуто, удаётся в какой-то мере к себе расположить этих стариков — бывших кулаков, как мне почему-то думается. А пустой желудок вновь грезит о картошке в подвале.

Уходим со Смирновым уже с закатом солнца, обсуждая, насколько хорошо видны с нового НП Извоз и Большое Стречно.

Где же ночевать будем? Изба партизана — не наш дом теперь.

Может быть, в избе, где помещался Ривьера со своим штабом? Путь наш всё равно ведёт мимо неё. Подходим. В ней, по-видимому, поселились автоматчики. Стоит недалеко старший лейтенант Ткаченко, смотрит на нас тяжёлым, жёстким взглядом. Видим щетину его рыжих усов, а в светёлке кто-то голосит, разливается, плачет.

Берусь за перила, подымаюсь на пару ступенек, спрашиваю: “Что там?” у стоящих перед крыльцом автоматчиков.

— Старики плачут! — отвечают они угрюмо.

— А что случилось?

— Пристрелил дочку-то старший лейтенант, и ребёнка заодно: говорит, он у неё немецкий.

Не открыли мы дверь, не вошли в избу — пошли со Смирновым дальше.

Шли дальше, думая о трагедии, разыгравшейся в тёмной светелке. В воображении вставала красавица Тамара с чёрными распущенными волосами и новорожденным младенцем на руках.

Стемнело, когда мы подошли к избе партизана. Во дворе стояла запряжённая в сани Полундра, а в избе нас встретил, как всегда приветливо осклабясь, старшина Максимцев. Привёз баланду! Третья часть котелка досталась на мою долю да три с половиной чёрных сухаря. Ещё песок сахарный в маленьком бумажном пакетике: чайные ложки три будут.

Смирнов выпил баланду из котелка через край, сахар высыпал прямо в рот из пакетика. На моё замечание, что следовало бы сахар к чаю приберечь, рассмеявшись, как всегда, грубым коротким смехом, ответил:

— Э-э, умрём — всё останется! Так сразу лучше.

Ни Фокина, ни Калугина в избе не было. Заметно было, что многие стрелки первого батальона просочились из леса в деревню, улица от войск стала люднее.

К ночи начался сильный миномётный обстрел немцами нашей деревни. Мы же улеглись все спать, причём я поместился с краю, на лежанке. Старуха и дети долго укладывались и шептались за деревянной перегородкой. Сон был беспокойным, неровным. Обстрел деревни то прекращался, то вновь начинался с ещё большей яростью. Несколько раз выходил во двор: смотрел на начинающиеся в отдельных местах Большого и Малого Старо пожары. Отсвет от них проникал через небольшие оконца в избу и не давал спать. Звонко рвались мины, то удаляясь, то приближаясь к нам. Такая ночь тоже запомнится надолго, на всю жизнь, должно быть. Даже умирая, вероятно, её вспомню.

Утром, как рассвело, пришли капитан Фокин, комбатр Калугин и другие. Мне надлежит немедленно свернуть связь, так как вся бригада снимается и перебрасывается под город Демянск. Есть, говорят, приказ об этом по армии. Из отрывистых слов капитана узнал, что мы блокируем 16-ю германскую армию генерала фон Буша, базирующуюся на Демянск. После снятия связи приказали двигаться с первым батальоном. Связь предстоит снять всю — от Малого Старо до батареи, которая будет перебираться на новое место. Батальон уже поспешно оставлял Малое Старо, уходил обратно в лес. После телефонных звонков и необходимых распоряжений мои телефонисты и разведчики приступили к работе. Часам к одиннадцати мы были в лесу, среди стрелков батальона, — Малое Старо оставлено. Говорят, что удерживать деревню поручено роте автоматчиков, которая осталась в ней не вся, а в какой-то своей части, должно быть.

Остановились мы в лесу, у оврага, напоминая, вероятно, какой-то несуразный большой табор. Тут оказались и роты первого пехотного батальона, и сапёрная рота бригады, и автоматчики, а также лошади, орудия и артиллеристы застрявшей у оврага второй батареи лейтенанта Шароварова. Мои телефонисты, энергично снимавшие телефонную линию, наматывающие провода на катушки под руководством Стегина и Быкова, справились со своим делом успешно. Часам к двум дня всё уже было собрано. Телефонисты погрузились на тягачи и должны были двигаться с орудиями. Мы были готовы в путь, но приказа не поступало.

Потеплело. Падал снег, пушистый, большими хлопьями и настолько частый, что в этом не было ничего приятного. Спина, плечи, шапка — всё покрывалось снегом, деваться от него было некуда.

Толкались взад и вперёд по снегу, то натыкаясь на своё начальство, — капитана Фокина и лейтенанта Калугина, — то теряя их надолго из вида.

Снег шёл, не переставая, а к вечеру разыгралась сильная метель; это действовало совсем удручающе. Встретился я где-то на тропках с лейтенантом Мальцевым и его разведчиками. Их состояние было таким же плачевным, как и наше: голодные, промёрзшие, смертельно усталые, засыпанные снегом, они прятались от метели, скорчившись под деревьями.

— Нет, не по моим силам эта война, — снова повторил мне Мальцев.

Да, побеждали мы, видно, молодостью.

Разведчики, ходившие за мной, как цыплята за наседкой, сначала робко, потом всё настойчивее и настойчивее стали

просить меня разрешить им отправиться в Большое Старо — отдохнуть и погреться немного в избе у крестьянина, где со Смирновым мы наблюдательный пункт наметили.

Я категорически им отказывал.

— Ну что стоит разрешить, тут полтора километра до деревни, — говорили они, — ну оставим здесь кого-нибудь, прискачет, если потребуется, если в путь тронутся, вмиг вернёмся.

Пришлось обратиться к командиру батареи Калугину. Он решительно отказал нам.

Совсем стемнело. К ночи пурга разошлась ещё больше.

Ещё настоятельнее стали приставать ко мне ребята. Снова обратился к Калугину — снова отказ: пусть терпят, вперёд пошла уже саперная рота и автоматчики. Придёт приказ — батальон двинется, с ним и наш черёд придёт.

Ни шалашей, ни землянок. Никакого дела не делаешь — мёрзни и жди. Уже ночь наступает, а мы всё на ногах, как звери лесные диковинные.

Стали просить меня ребята — отпусти их хоть троих: картошку выпросят, сварят, принесут. Вернуться всегда успеют. Лошади кругом бродят, вернуть не трудно.

Заколебался я. Разрешить нельзя: строжайше запрещено мне. Но доводы-то убедительные, как не согласиться с этим?

Результат сказался быстро: несколько человек из моего взвода исчезло. Стало ясно, что ушли в деревню!

Сказать Калугину нельзя, взбесится. Послать вдогонку? Придётся, другого выхода нет! Не разрешал ведь я им! Почувствовали, видно, слабину, малодушие моё. Решил послать троих. Опять стали уговаривать:

— Товарищ лейтенант, пойдемте же с нами, ну часок хоть посидим, вернёмся и их прихватим!

Не удержался я. Оставил Смирнова с Афониным близ командира батареи. И пошли мы, утопая в снегу, через поляну в Малое Старо. Темнота, если бы не снег! Ветер. Метёт. Спустились в лог. Поднялись на пригорок. Совсем засыпанные снегом, открываем дверь в знакомую избу. За столом сидят, сняв шапкии расстегнувшись, “пропавшие” ребята моего взвода. Перед ними — освещаемая керосиновой лампой кастрюля с только что сваренной в шкурке крупной картошкой. Пар поднимается над кастрюлей.

— Пожалуйте к нам, товарищ лейтенант, откушайте, картошки на всех хватит! — говорят они с некоторым подобострастием, повернув в нашу сторону головы.

Раньше всего надо стряхнуть с себя снег. Берём стоящий у

двери веник. Довольно долго и тщательно обрабатываем друг друга.

Хозяева избы, видно, умело ребятами моими обхожены: не в пример недавнему прошлому, добродушны, гостеприимны, настроены доброжелательно.

Сдираем почерневшими от костра и мороза пальцами шкурку с горячих картофелин, разламываем, посыпая солью и отправляем в рот. Досадно только, что хлеба нет.

Очень недолго продолжалось это удовольствие — какие-нибудь минуты. За окном послышался топот лошади, скрип снега на крыльце, и в избу ввалился Афонин.

— Товарищ лейтенант, командир батареи приказал вам сию же минуту вернуться со всем взводом. Очень разгневался, очень ругается.

По выражению лица Афонина вижу, что дело нешуточное. Собираемся быстро, рассовываем картофель по карманам. Кастрюля пуста, и мы уже на улице, опять на ветру и позёмке.

Озабоченно расспрашиваю Афонина, что произошло, как настроен командир батареи. Встреча не предвещает ничего доброго.

Вот уже и лес. Вот уже и маленькие, серые, но грозные, должно быть, очи Калугина: в темноте-то их не видно.

— Расстрелять, только расстрелять тебя, приказ умышленно нарушил!.. Да это фронт или не фронт? Становись к ёлке! — кричал Калугин, прикрываясь от ветра и снега, усиленно пересыпая свой крик крепкими, солёными словами.

Я старался, как мог, оправдаться. Мои ребята, в нарушение воинских правил и этикета, всё время вмешивались, стараясь выгородить меня, взять на себя вину. Убеждали его, что, в конце концов, никто ведь не отстал, не опоздал. Долго бушевал Калугин и всё твердил о расстреле. Постепенно отошёл. Сказал, что батальонная разведка уже пошла за врубавшимися в лес сапёрами, чтобы мы шли за ней сейчас же. Он будет дожидаться тягачей с орудиями. Направление — на север, буссоль 45-00. Расстояние для перехода — сорок-пятьдесят километров.

Батальону приказано взять с ходу деревню Хохели^[6] Новгородской области. К ней должны выйти наши батареи, поручается поддержать артогнём наступление батальона. Где будет огневая позиция, т.е. где установят пушки, Калугину пока неизвестно.

— Разведка пошла вон туда, — он махнул рукой в темноту. — Забирай разведчиков и иди!

Наступила ночь, когда я со своими немногочисленными разведчиками шёл по лесной тропе по следам батальонной

разведки. Лыж не взяли. Брели и брели, выбиваясь из последних, кажется, сил.

В деревне Речицы

27 февраля 1942 года

Путь в глубоких снегах продолжался всю ночь. В движении застал нас и рассвет. Пурга стихла, снегопад прекратился, и утром, когда стало совсем светло, покрытый свежим снежным покровом новый, ещё не виданный нами лес был удивительно красив. Ушли далеко, ветра совсем не было, как будто бы непогода оставлена нами у Малого Старо, только усталость стала совершенно непереносимой, останавливались мы всё чаще и чаще, поджидая остальных.

Мороз был не сильным, временами появлялось солнце, но догнать автоматчиков и батальонную разведку не удавалось.

Вышел на какую-то просеку. Стали появляться пни и занесённые снегом стволы поверженных на землю деревьев. Я ушёл вперед от своих разведчиков и брёл по просеке в одиночестве. Дороге, казалось, конца не будет. Решив сделать небольшой привал, подождать своих, смахнул с подступившего к дороге пенька снеговую шапку, посмотрел на часы: шёл десятый час утра, присел и задремал. Сначала заснул очень крепко, как будто куда-то провалился. Потом вздрогнул, проснулся, стал то засыпать, то пребывать в каком-то полусознании, поглядывая вдоль просеки — не бредут ли мои ребята?

Окончательно пробудился и протрезвился я совершенно неожиданно, внезапно, увидев приближающихся ко мне по просеке лыжников. Вот показался один, вот второй, третий... шестой... десятый... Идут прямо на меня, ходко и ровно, соблюдая дистанцию между собою метров в десять. Наши? Немцы? Продолжаю сидеть, удивляясь мысленно: кто бы это мог быть? Через несколько секунд убеждаюсь: идут наши, без масккостюмов, в красноармейских шинелях и ушанках, с винтовками за спиной, без вещевых мешков, налегке. Батальон не на лыжах, батальон в масккостюмах, кто же это? И совсем молодёжь — мальчишки восемнадцатилетние!

Спрашиваю. Оказывается, Свердловский лыжный батальон, идут на Хохели. Все одногодки, 1923 года рождения.

Семьсот шестьдесят человек пропустить мимо себя — не так уж это скоро. Идут и идут. Иногда бывают небольшие перерывы: вероятно, рота отделяется от роты.

Наконец, прошли. Ещё подождал — подошли и мои разведчики. Двинулись дальше вместе, а вскоре пришел конец и

лесной просеке. Она вывела нас на хорошо наезженную дорогу, пересекающую просеку под прямым углом.

Здесь, на этом месте пересечения дорог, ведущих и прямо, и влево, и вправо, расположился лыжный батальон, с весело трещащими уже кострами, звоном котелков и людским гомоном. Здесь же, на этом перекрёстке, непосредственно перед нашим приходом разыгралась лесная трагедия. Автоматчики и батальонная разведка, дойдя до перекрестка, остановились, выставив дозор по два человека налево и направо по дороге. В скором времени дозоры слева прибежали с криком: “Немцы, немцы!”... Вслед за этим из-за поворота вылетели верховые: один, другой, третий, четвёртый...

Затрещали очереди из автоматов — слетели немцы с лошадей. Пытались отбиться, да недолго это продолжалось. Трупы четырёх немецких офицеров остались на снегу. Трёх лошадей убили и тут же раскромсали — по котелкам разошлись, а одна унеслась по дороге, от перекрестка вправо.

Встали автоматчики на лыжи, погнались за умчавшейся лошадью.

Подожли мы к раскинувшимся на снегу трупам немецких офицеров, долго рассматривали их. А тут и знакомый рёв моторов: подходят наши тягачи с пушками.

В кабине первого тягача — комбатр Калугин. Как узнал он, какое было тут дело, поднял меня и разведчиков: “Давай, догоняй автоматчиков, я тоже сейчас за вами пойду”.

Итак, двинулись и мы вправо: хорошо хоть то, что на наезженную дорогу попали! Идти несравнимо лучше. Пошли пешком, без лыж. Который же это километр мёрзнем мы со вчерашнего вечера?..

В трёх-четырёх километрах от перекрёстка, где раскинулись на обочине четыре немецких трупа, дорога выходила к мелколесью и сворачивала через небольшой овражек в деревушку. Выйдя из леса, автоматчики увидели небольшую группу немцев, стоящих у околицы и державших прибежавшую осёдланную лошадь из-под убитого немецкого офицера. Вышли из леса автоматчики не сразу, а рассредоточились в растянутую по опушке цепь, укрываясь за стволами деревьев.

— Russ, Russ, komm zu mir! — закричал кто-то из немцев и замахал руками, заметив показавшегося автоматчика. Из леса в ответ посыпались длинные очереди, и немцы — их было человек восемь, что-то обсуждавших и с тревогой посматривавших на дорогу, по которой прискакала лошадь, — бросились опрومتью бежать в деревню.

Наши автоматчики и батальонная разведка, спускаясь с горки

на лыжах и с ходу стреляя, наступала широкой цепью через овражек в деревню. Немцам было не до отпора. Они поспешно заводили машины, стоявшие на улице, выбегая из домов, бросались в них и удирали из деревни в противоположную сторону. Как в этих случаях говорится, деревня была захвачена с ходу, противник был выбит.

Мои разведчики вошли со мной в деревню в тот момент, когда беспорядочная стрельба прекратилась, а автоматчики шарили по избам, с ходу жевали найденные там закуски. На некоторых столах остался недопитый немцами ещё горячий кофе, вино и фрукты.

У коновязи стояли непривязанными высокие и крупные немецкие лошади — “голландки”. Откормленные и холёные, с короткими, подстриженными хвостами и гривами, не чета нашим, оставшимся в лесу и тянувшим вторую батарею.

Всего лошадей было семнадцать. Пять были ранены в ноги. У одной совсем отваливалось копыто. Здесь же стояла красивая, как с картинки, осёдланная верховая лошадь, которая с небольшими перерывами громко ржала, глядя в сторону леса и оставшегося там убитого своего хозяина. На улице, подготовленная, по-видимому, к погрузке и отправке, стояла немецкая походная кухня, массивная, с отделением для кофе, в котором сохранилось ещё порядочное количество зёрен. Другое отделение для молотого кофе легко было определить по аромату и небольшим остаткам. Кухня имела форму правильного параллелепипеда, почти куба, в отличие от наших кухонь цилиндрической формы.

Пока мы толкались на улице, а ребята “пикировали” за хлебом в избы (приносили белый!), приехал верхом на Умном с подложенным вместо седла одеялом Калугин.

Привязав Умного к длинной коновязи, он тоже отправился ходить по избам, откуда вернулся не на твёрдых ногах: нашлось, должно быть, что можно было выпить. Калугин был возбуждён, нервничал и опасался скорого возвращения немцев в деревню.

— Давай забирай скорее лошадей и кухню! — стал торопить он меня.

Однако как же их забрать, когда все лошади без уздечек, и не на что погрузить кухню? Это простое соображение не остановило Калугина, так же, как и то, что нас всего пять человек.

— Приказал — выполняй. Чтоб все лошади и кухня в лесу у тягачей немедленно были. Это нам жизненно необходимо. Понял? — добавил он, как всегда, с ругательствами.

Пересев на немецкую осёдланную лошадь, Калугин отправился обратно в лес, оставив меня в недоумении и даже растерянности посреди улицы. Мои ребята, слышавшие весь

разговор и тоже пытавшиеся вполголоса протестовать, не стали ждать дальнейших приказаний. Они раздобыли где-то санки без оглобель, верёвки, водрузили и привязали к санкам кухню, сделали постромки и вожжи, впрягли большую серую “голландку”. Сами же взгромоздились, кто как сумел, на лошадей (Афонин забрался на Умного), привязали их, связав в необходимых случаях хвостами, и лошади крупными шагами, даже раненые, хромые, двинулись в лес.

Шестнадцать немецких лошадей скоро скрылись из моих глаз. Остался я с семнадцатым, серым жеребцом, санками и кухней.

Примостившись на санках сзади, взяв в руки верёвочные вожжи, двинулся и я по дороге.

Лошадь с места пошла быстро, крупным шагом — такие тяжеловозы с места рысью не берут.

Недолго продолжалось это путешествие: при спуске в овраг санки перевернулись, кухня, как пробка из бутылки, вылетела из своего ненадёжного крепления и глубоко зарылась в сугроб, даже удивительно далеко от дороги. Серый конь не обратил на это ровно никакого внимания. Он продолжал идти тем же крупным шагом, никак не реагируя на мои команды и крики. И тпру, и стой, и хальт не помогали. Пришлось бежать, на ходу поставив на место перевернувшиеся санки, забраться на них и ехать дальше порожняком. Дорогой старался утешить себя и подбодрить соображением, что всё равно одному из сугроба достать кухню было бы невозможно.

Дальнейшее следование порожняком не обошлось без нового инцидента: навстречу в лесу попало двое порожних саней с ездовыми из батальона. Их тащили наши смирные, голодные, маленькие лошаденки, которые, завидев издалика моего Серого, остановились. Знали, что на лесных дорогах разъезды не так-то легки, кому-то придётся в целину сворачивать.

Однако Серый и не подумал ни сворачивать, ни остановиться. Он пошёл прямо на стоящих лошадей и на сани. Лошади сдали назад, уперев санями в снег. Мирно лажащие в санях ездовые вывалились, ругаясь и пустив в ход кнуты. Серый упорно тащил мои маленькие санки через первые, потом вторые розвальни, разворотил всё, как будто бы так и следовало, наконец, выбрался и снова ходко пошёл по дороге. Я опять догнал его, но уже под ругательства, несущиеся теперь по моему адресу.

Что можно было поделать, если он ничего не понимает и не слушает?

Через несколько минут я уже стоял перед Калугиным. Ярость его была беспредельной. Он кричал “расстреляю сейчас же” и

хвтался за наган, причём сцена эта была более тяжёлой и горькой, чем под Малое Старо. Сколько ни оправдывался я, не помогало. Выручили ребята моего взвода.

— Товарищ лейтенант, — обратились они к Калугину, — дайте двадцать минут срока, доверьте нам это дело, — кухня здесь будет.

Это подействовало. Калугин смягчился и, заявив, что через двадцать минут расстреляет меня, если кухни здесь не будет, отпустил человек шесть за кухней.

Не прошло и двадцати минут — походная кухня былау кровавого перекрестка, раненых лошадей пристрелили, остальные стояли привязанными к деревьям и временами жалобно ржали.

Скопление наше у этого перекрестка снова напоминало большой табор. Тягачи с пушками стояли в разных, неопределённых местах и направлениях, уткнувшись в снег, между деревьями. Лес в основном был из высоких корабельных сосен, молодых берёзок и кустарника. Трещали костры, на которых жарилась или варилась конина. В стороне раскинулась чья-то палатка. Сунув туда нос, я обнаружил у жаркого, хорошо сложенного костра капитана Фокина и начальника штаба нашего артдивизиона лейтенанта Колбасова, туда же пробрался и Калугин, причём ясно было, что там неплохо. Я поспешил ретироваться. Стемнело. Стало морозно. Чувствовал я себя страшно измученным и физически, и морально. Ноги отказывались служить. Пробравшись к кузову одного из тягачей и обнаружив в нём среди вещевых мешков плащ-палатку, я постарался закататься в нее, спасаясь не столько даже от мороза, сколько от ветра, дувшего и по просеке, и по дороге. Зарывшись в кузове, как-то заснул, точнее, пожалуй, забылся в тяжёлом, но чутком сне. На всё, казалось, наплевать. Только бы отдохнуть...

Бой под деревней Хохели

28 февраля 1942 года

Ночью услышал, что меня ищет, окликает по фамилии Калугин. Решил не откликаться. Ну его! Как ни неудобно лежать, как ни промёрз, а всё же отдых.

Через некоторое время он возобновил поиски. Добрался до моей ноги. Тут я очнулся. Отозвался. Калугин не сердился. Сказал:

— Давай, поднимайся, ничего не поделаешь! Дело в том, что с вечера лыжный батальон ушел на Хохели, с ним пошла артразведка первой батареи с лейтенантом Мальцевым. И вот: о Мальцеве ни слуху, ни духу. Никаких вестей о себе не подаёт. Чёрт знает что такое! Командир дивизиона рвёт и мечет. Приказал тебя послать: надо же узнать, где Мальцев, что с ним случилось, и где батальон. Батареи развёртывать, орудия устанавливать надо, а огневые позиции даже не выбраны! Воюем в потёмках!

— А где Хохели? Который час? Когда ушёл Мальцев? — спросил я.

— Сейчас пятый час утра пошёл, а где Хохели — чёрт их знает. Мы думали сначала, что эта деревушка — Хохели, а она Речицы, оказывается. В ней стояли немецкие обозы. Немцев человек шестьдесят там, кажись, было. Удрали, всё бросили. А Хохели где-то в стороне. Давай, забирай своих разведчиков, догоняй Мальцева, узнай обстановку. Двигай скорее! Капитан шибко ругается, — понуря голову, скорее просил, чем приказывал Калугин.

С трудом пришлось разыскивать бойцов своего взвода, и с трудом великим. Исходил по снегу немало, пока набрал шесть человек. В пять часов двинулись в путь пешком, без лыж, по той же дороге на Речицы.

Сначала шли по знакомому пути, где досталось мне так тяжело от неумения управиться с Серым. Потом дорога километрах в двух от Речицы сворачивала влево — по следам можно было предполагать, что здесь и пошёл батальон, вернее, полтора батальона: лыжный стрелковый и остатки первого.

Посоветовавшись друг с другом, повернули влево. Пройдя немного, увидели мужичка, быстро идущего в Речицы.

— Эта ли дорога на Хохели? — спросили мы.

— Да, да, на Хохели, — ответил он после небольшого

учиненного ему допроса.

Тогда я достал свой большой блокнот из висевшей на боку полевой сумки с планшетом.

Написал на листке: Калуге — Донесение, вычертил местность и дорогу, поставил кроки и ориентиры, пройденное расстояние, отметил путь, время по часам, подписал: следуем дальше.

Отправил к Калугину Петухова с приказанием вручить донесение и вернуться.

Прошли ещё километра два-три по новой для нас дороге, сворачивающей то вправо, то влево. Впереди слышалась стрельба, увидел какой-то горящий сарай (может быть, на краю деревни), заметил удачное для установки орудий место на возвышенности, под прикрытием сосен. Осмотрел его, прикинул и зону обстрела, и другие преимущества; снова пишу — Донесение № 2, составляю более подробную карту, отмечая выбранное для батареи место, посылаю к Калугину Смирнова, подписываюсь опять теми же двумя словами: следую дальше.

Через километр или полтора пути вошёл в расположение батальона, откуда просматривалась деревня, но очень плохо. Кроме поляны, на которой была высокая берёзовая роща, деревня отделялась от нас небольшой, но скрывающей её возвышенностью. Виднелись только крыши отдельных домов. На опушке, недалеко от двух горящих сараев, встретил Мальцева в сопровождении трех или четырёх разведчиков его взвода. Поговорили немного.

— Что ж ты о себе никаких сигналов не подаёшь, кромдив ругается, — сказал я.

— Не по силам мне всё это, — убитым голосом отвечал Мальцев, чертя каким-то прутом по снегу.

Ещё постояли, ещё поделились невесёлыми впечатлениями. От него я узнал, где размещается командный пункт батальона, узнал, что в берёзовой роще скопился уральский батальон “юношей”, или “спортсменов”, как они их называли. Обстановка на опушке напоминала знакомую картину: те же группы бойцов, провода связи, волокуши, пулемёты, цинки, каски, рассыпанные патроны, брошенные противогазы и вещевые мешки бойцов. Здесь прошли те, кто шёл на смерть — надвигающуюся, неизбежную.

Спаренные шестиствольные немецкие миномёты временами вели огонь по скоплению войск на опушке. Однако, поглядев в бинокль в сторону берёзовой рощи, я понял, что ад был там. Лыжный батальон “юношей”, или “спортсменов”, пытался перейти в атаку, но сплошные минные поля перед деревней, шквальный пулемётный и миномётный огонь косили их так, что дрожали руки и застилало глаза, впившиеся в окуляры большого

артиллерийского бинокля. Они шли в рост, на лыжах, бросив палки, с винтовками наперевес и примкнутыми штыками. Но это было не движение, а сплошная, губительная смерть. Усилившийся миномётный обстрел с трудом оторвал от этого зрелища. Мой бинокль переходил из рук в руки. Однако пришлось покинуть опушку и двигаться обратно. Перед этим отправил третьего разведчика с донесением Калугину о соприкосновении с батальоном и Мальцевым.

У места, выбранного для установки орудий, я встретил капитана Фокина на верховой немецкой лошади и лейтенанта Калугина на Умном, обоих в приподнятом настроении.

— Молодец, место выбрал отлично, — сказал мне капитан, — а вот эту речку видел? Как думаешь, трактора пройдут?

— Видел, пройдут, она замёрзшая, — ответил я.

— На карту свою ты её не нанёс, — засмеялся Калугин, — но всё равно, батарея сюда уже идёт, — добавил он.

Оба были навеселе.

— Молодец, молодец, — повторил мне Фокин, — а Мальцева разжалую в рядовые и в пехоту, в этот же первый батальон, — сказал он, обращаясь к Калугину.

— Иди на передовую, выбирай НП, да поскорее, — обратился ко мне Калугин.

Нервная дрожь и усталость какая-то, не только физическая, не переставали донимать меня, когда я снова со своими, теперь сократившимися до троих, разведчиками поплёлся, утопая в рыхлом снегу, обратно на передовую. Посланные мною с донесениями капитану ко мне не вернулись — застряли там, “в тылу”, у кровавого перекрёстка с кострами.

Путь обратно на передовую был более длинным, а следовательно, и тяжёлым, так как нужно было добраться до командного пункта батальона. Он был левее берёзовой рощи, где так бессмысленно погиб батальон “юношей”. Как я узнал впоследствии, в живых осталось только тридцать семь человек. Был убит с ними и батальонный комиссар Булыгин. Говоря точнее, трудно было установить, кто убит, а кто тяжело ранен, так как доступ к берёзовой роще и к отделявшему её от деревни белому полю с разбросанными по нему, как пятна, фигурками в шинелях или маскхалатах был накрепко заблокирован огнём немецких пулемётов. В небольшой, покрытой снегом воронке от снаряда сидел мрачный, со стальными жёсткими глазами Витязь, его начальник штаба, с каской на голове, Владимир Иванов и связные. В бинокль было видно, как некоторые фигуры временами шевелились в снегу: вероятно, тяжело раненные делали последние попытки ползти.

Я наметил место для нашего передового наблюдательного пункта в засыпанной снегом какой-то ямке или канавке, о чём сообщил Витязю. Тот в ответ злобно посмотрел на меня, сказал: “Поздно!” и добавил крепкое словечко.

Решив скорее ретироваться, я со своими двумя ребятами ползком стал перебираться в намеченную ямку (место было открытое). Перебравшись туда, мы стали утаптывать внутри ямки снег. Я же, изрядно мучаясь от сильного морозного ветра с позёмкой, пытался, пользуясь биноклем, оценить преимущества и недостатки выбранной позиции. Недостатки были серьёзнейшие, решающие и, к сожалению, обычные: неудовлетворительный обзор, никак не обеспечивающий хорошее наблюдение.

Деревня была видна далеко не вся, а только с края, и то только крыши. Всё скрывало поле, расположенное на возвышенности.

Ветер и мороз донимали основательно, впрочем, долго сидеть нам там не пришлось. В ямку ввалился сам командир дивизиона капитан Фокин.

Первое, что он сделал, так это схватил меня не то за грудь, не то за шею и, пытаясь трясти, начал кричать с руганью:

— Где связь? Почему не дал сюда связь? Чтобы сейчас же была здесь связь с батареей!

— Но как же так? Где наша батарея, и, вообще, развернулась ли уже она? Где мои телефонисты и средства связи? Ведь они оставались на тягачах, с орудиями! Со вчерашнего вечера я их не видел. Да и не получал я приказа вести связь! Наконец, этот ПНП выбран мною пять минут тому назад только.

— Ничего не знаю и знать не хочу, — кричал рассвирепевший капитан. — Давай связь, давай, ищи сейчас же, чтобы связь была как можно скорее. Не видишь разве, сволочь, как из-за вас люди гибнут!... — И опять мат, мат и мат.

Мы, подавленные всем виденным и происходящим, поползли как могли быстро к лесу. Вот и опушка, ельник, запах хвои! Говорит: быстро, но как же это неимоверно тяжело и утомительно! Не так-то просто представить себе, что такое ползти зимой по полю!

В ельнике пришлось передохнуть. Я оказался в какой-то неглубокой снежной воронке — может быть, от мины — с каким-то пехотинцем, флегматично доедавшим баланду из конины, черпая её не торопясь ложкой из котелка.

Повалился на снег, отдыхая. Пехотинец продолжал своё дело безучастно, не спрашивая, кто я и откуда. А ведь видно, что я средний командир! Впрочем, и мне совсем не до этого. Лежу, отдыхаю, невесёлые бродят думы...

Раздался знакомый, быстро приближающий рокот самолётов. Опять свист от летящих бомб. И снова, как под Избытовым, тяжёлое уханье и разрывы стали сотрясать воздух и землю. Я зарылся на самом дне воронки, теперь уже лицом вниз. Снова похолодало, и зашло сердце. Немецкие штурмовики прочесали всю опушку, где было немало пехотинцев, и лошадей, и техники. “Перепахали”, как говорится. Однако лично для меня эта авиационная бомбёжка была немного легче, чем под Избытовым. Не засыпали пулемётные ливни, которые ложились где-то невдалеке, но не рядом. Не взлетал я на воздух, не скатывался в воронки. Только пронизывающий душу ужас и страх были, может быть, не меньшими. Больше же всего запечатлелась картина, возникшая перед глазами в момент одного ожесточенного бомбового удара: приподняв или повернув чуть-чуть голову, я увидел пехотинца, сидевшего рядом в той же позе, в какой он находился до бомбёжки, с тем же котелком и ложкой в руках. Он заканчивал, скребя по дну котелка, баланду.

— Ложись! Чего же ты? — сказал я.

— Не пропадать же ей, всё едино, — ответил он печально, торопливо облизывая ложку.

Кончилась бомбёжка. Я поднялся и пустился в путь, с удивлением наблюдая, как изменился он от образовавшихся воронок, как полит снег кровью, почернел от разрывов и осколков, как местами встречаются куски то ли человеческого, то ли лошадиного мяса, как подбирают стонущих раненых, укладывая их в шлюпки-волокуши. Разведчиков моих и след простыл. Не видно их. Пришлось завернуть на дорогу и идти дальше в одиночестве.

Было уже за полдень, когда я приближался, еле передвигая ослабевшие ноги, к тому пригорку с соснами, на котором, выбирая место расстановки орудий, встретился с Фокиным и Калугиным.

Свернув с дороги в лес и остановившись у какого-то пня, я, оглянувшись, увидел ехавшего рысью всадника, по-видимому, нашего офицера. За ним показалась из-за стволов и ельника лошадь, запряжённая в обычные розвальни. Замыкал опять верховой.

Я вышел из леса, поднял руку и крикнул: “Подвези!”, тут же испугавшись прозвучавшего в лесной тишине крика. В душе шевельнулась надежда добраться в санях до батареи.

Выход мой из леса был неожиданным. Ехавший верхом на лошади позади саней офицер тут же выхватил револьвер и быстро направил его на меня, прицеливаясь. Я стоял молча и не шевелился. Остолбенел немного. Офицер, всмотревшись и увидя,

что я — свой, не немец, опустил револьвер, отвернулся и быстро поспекал дальше.

“Что за чудо? — думал я, шагая по дороге и не понимая, кто же это и куда ехал. — Командир бригады — полковник? Нет, его бы я узнал...”

Добравшись до знакомого пригорка, увидел неожиданную для меня картину: на возвышенности бродили, лязгая гусеницами, трактора ЧТЗ и устанавливали орудия... первой батареи лейтенанта Соколова. Около орудий трудились, хлопотали артиллеристы.

С чувством внутреннего удовлетворения подумал я о том, что место-то выбрано всё-таки мною и, бесспорно, удачно. Пушки стоят высоко, обеспечены предельные углы возвышения и снижения, лес хорошо маскирует орудия.

Радостно было также встретить здесь своего приятеля Георгия Певзнера, поделиться с ним, поговорить о тяжёлом для нас развитии событий, о мучившем всё время голоде и усталости. От него узнал, что недавно здесь провезли на санях тело убитого под Хохелями комиссара нашей бригады полкового комиссара Владимиров, моряка, очень высокого ростом. Вот, значит, с кем я только что в лесу повстречался, кому кричал “подвезите!” Невольно вспомнилась наша встреча в Хамовнических казармах.

Узнал также я от Певзнера, что лейтенант Мальцев уже разжалован в рядовые и ушёл в первый батальон.

— Утром намечается снова атаковать деревню, остатки лыжного батальона теперь волюют в первый пехотный. Как “юношей”-то уложили — что дрова лежат в роще! Мне некогда сейчас, начинаем пристрелку деревни, пойду. Не забудь уговора: убьют или ранят — сообщи родным, адрес-то не потерял? — проговорил он на прощанье.

Я отошёл в сторону, наблюдая работу артиллеристов. Кто знает, зачем в определённом времени и месте переплетается жизнь людей, иногда чужих друг другу, иногда очень тесно? А бывает и так, что потом эта спайка, казавшаяся такой прочной, нарушается и даже навсегда изглаживается утюгом времени из жизни.

Вскоре из дул четырёх орудий вырвались жёлтые языки пламени: шрапнель с гулом понеслась в сторону деревни. Стрельба вызвала у меня привычный, как всегда, прилив бодрости и силы. Я продолжал стоять, наблюдая за Певзнером и стрельбой орудий.

Вскоре неожиданно и рядом оказался капитан Фокин, снова агрессивно напавший на меня, требовавший связи и угрожавший разжалованием и расстрелом. Тут я почувствовал, что он

основательно пьян. И постарался уйти от него, что мне удалось.

Пробираясь дальше, к своей батарее, видел, насколько изменилась дорога. Когда шёл за Мальцевым на Хохели, она была безлюдной лесной дорогой. Сейчас сюда подтянулись обоз батальона, санитарная часть, связисты. За последним поворотом к тому перекрёстку ожидало новое зрелище: здесь устанавливались орудия второй батареи. Значительное количество леса перед орудиями — вековые сосны — было спилено работающими там артиллеристами. Узнал новость: командир батареи лейтенант Шароваров убит ночью наповал случайным выстрелом из нагана каким-то командиром взвода той же батареи. Говорили о военно-полевом суде и расстреле того, кто допустил такую неосторожность. Рассказывали, что произошло это у костра, что убивший Шароварова лейтенант не то чистил, не то перезаряжал наган.

Батарея должна была прикрывать огнём Речицы, могла также, по своему расположению, вести огонь на Хохели.

К перекрёстку я подошёл уже затемно. Ни ребят моих, ни батареи здесь уже не было.

Трупы четырёх немецких офицеров были полураздеты и изуродованы. Невольно остановился, задержался на них взглядом. Однако искать батарею не пришлось: она переместилась несколько вперёд по просеке от этого перекрёстка. Ночь прошла у какого-то костра. Без шалашей, на морозе. Командир батареи забрался опять в кабину трактора. Сказал, что связь пока никуда тянуть не нужно. Вероятно, пойдём на село Большое Князево. Это выяснится завтра. Пока приказа нет.

Не в сне, а в каком-то жутком, бессильном и голодном полусне встречен был мною рассвет следующего дня — 1 марта 1942 года.

Под деревней Большое Князево

7 марта 1942 года

Миновала первая неделя марта. По календарю — весна, здесь же, в лесу, она не наступала, не ощущается. Жизнь протекает в снегах, в тяжёлых переходах. Однообразия, однако, нет: каждый день приносит новое.

От перекрёстка с трупами немецких офицеров мы ушли вперёд по просеке, затем по лесу в сторону, всего километров на пятнадцать. Батарея осталась на просеке, бойцы оружейных расчётов стали рыть землянки, резать деревья для двойных и тройных накатов. Калугин же со мною и разведчиками ушёл, как всегда налегке, вперёд с батальоном. Телефонисты тянули за нами связь, на линии оставили две промежуточных станции, обе в стороне от дороги, в зелёных шалашах. На первой промежуточной станции — два телефониста, на второй — один. Людей не хватает, хотя до сих пор убыли в моём взводе не было. Вот во взводе Мальцева, как раз в день его разжалования, был убит один человек. Последний раз встретился я с Мальцевым в густых зарослях, перед выходом на укатанную лесную дорогу к Князеву. Оба были на лыжах. На мне были трофейные финские лыжи, узкие, ярко-зелёные, с красным окаймлением, оборудованные не виданным мною мягким креплением в виде эластичной спирали, охватывающей задник. Удивительно красивые лыжи, вероятно, гоночные. Прельстившись ими, я нажил себе непредвиденные мучения: крепление всё время сползало с валенок, и, идя за батальоном на Князево, я вынужден был часто останавливаться, нагибаться, поправлять сползшее крепление или вывернувшуюся лыжу. Шёл один, светило солнце, трофейные лыжи испытывали моё терпение, однако не унывал, хорошее настроение не покидало. При очередной остановке в каких-то густых зарослях, напоминавших высокую, метра в два-три, осоку, увидел пробирающегося навстречу Мальцева. Окликнул его. Поговорили немного. Он совсем пал духом, говорит, нет сил выдерживать наше напряжение. Я старался подбодрить его, советовал терпеть, крепиться. Жалко мне его очень, но, чувствуя тогда, что не достиг успеха в своих стараниях, тронулся я дальше в путь. Когда выбрался на укатанную дорогу, по которой недавно прошёл батальон, первое, что бросилось в глаза, — это полуразрушенная снежно-ледяная глыба немецкого ДОТа. Изуродованная немецкая пушечка небольшого калибра сброшена около ДОТа в снег. Через

двести метров — второй ДОТ. Видно, немцы встречали батальон опять в лесу и на дороге, а потом отошли в деревню, за укрепления. Немецких трупов не видел, трупы наших — их немного — лежат у дороги, близ ДОТа.

Стоял солнечный день, 1 марта. У дороги слева раскинулась большая походная палатка командира первого пехотного батальона. Изрядное количество лыж воткнуто рядом с нею в снег, к ним я с чувством большого облегчения присоединил свои, красивые. Из палатки вышел капитан Фокин.

— Ну, как дела со связью? — спросил он.

Я сообщил ему, что связь скоро сюда подтянут. Как всегда, он стал торопить. Указал на низинку слева от дороги, где приказывал сооружать шалаши нашей новой базы.

К вечеру в этой низинке, окаймлённой лесом, отстоящей на тысячу — тысячу пятьсот метров от занятого немцами Князева, раскинулось около двух десятков шалашей из хвойных веток. Большинство из них принадлежало роте автоматчиков. Два шалаша были построены ребятами моего взвода. В одном, неподалёку от нас, увидел я Певзнера с бойцами первой батареи. Непонятно было, почему он здесь оказался. Ближе к дороге, во втором от неё шалаше, поселился я с Колесовым и другими. К шалашу протянули связь. Умнов и Быков остались при пушках, на батарее.

Метрах в четырёхстах от нашей новой базы дорога поворачивала влево и шла вдоль опушки в деревню, по краю окаймленной лесом снежной поляны. А прямо от поворота, тоже вдоль опушки, батальоном были вырыты в снегу длинные и довольно путанные траншеи, уходящие в глубину леса. Стрелки батальона разместились в траншеях отдельными немногочисленными и рассредоточенными группами. Замаскированные станковые пулемёты были обращены на деревню. Там, где дорога поворачивала и выходила из леса, в молодом ельнике разместилась батарея наших 45-миллиметровых противотанковых пушек, а до неё, параллельно дороге, на лесистом пригорке была поставлена направленная на деревню техника миномётного дивизиона. Наши шалаши разместились от дороги по левую руку, шалаши миномётного дивизиона — по правую.

От наших траншей и ходов сообщения до ледяного вала, закрывающего деревню Большое Князево, — восемьсот метров. За ледяным валом — пулемётные и миномётные гнёзда противника. Улица деревни с околицей и дорогой, уходящей куда-то в лес, просматривается хорошо. В бинокль чётко видны дома и сарай. Редко-редко пройдёт по улице один или два немца. Перед

ледяным валом, в ста примерно метрах, — дуга вырытой в снегу траншеи. В ней время от времени появляется наблюдательный пункт немцев, а правее него — немецкий снайпер. Есть и вторая траншея. Она ближе к нам ещё на сто метров. Соединена с первой, но в ней немцы появляются редко, в солнечные дни они туда приходят, когда солнце нам в глаза светит, ослепляет, им же хорошо видно.

Здесь, на опушке, среди редких высоких сосен, в окопе, достаточно удобном, чтобы и в рост стоять, и выглянуть из него, основал я передовой наблюдательный пункт нашей батареи. У подножья сосны — аппарат телефонной связи с Колесовым, с промежуточными станциями, с батареями.

Здесь, в этих траншеях и ходах, переходящих иногда в мелкие канавки, которые нужно пробегать сильно согнувшись, засел батальон, основательно поредевший после первой же неудачной, захлебнувшейся атаки, не поддержанной ни артиллерией, ни миномётами.

Ну что поделаешь! И мы, и минометчики пришли, как во все предыдущие дни, позже батальона. Бойцы батальона пешком идут, а всё впереди нас оказываются.

Зарылся в снегу батальон, перешёл, ожидая пополнение, к активной обороне. Поживём — увидим, что это значит. А пока что видны измученные, голодные бойцы с винтовками, явно не желающие воевать, уже не те молодые, отважные и сильные моряки, которых видел я в Москве, а потом в боях под Хмелями, Избытовым, Залучьем. Нет. Те, сбрасывающие с себя вещевые мешки, шинели и бушлаты, надевающие вместо шапки бескозырку и в тельняшках, с гранатами на поясе и с автоматом в руках бросающиеся вперед на немцев, — те остались навсегда в тяжёлых снегах, окрашенных кровью, на полях под Хохелями, Залучьем, Избытовым. Лежат с раскинутыми или подвёрнутыми руками, на спине, ничком, на боку. Эти же бойцы, в большинстве своём пожилые, измученные люди, переведены в стрелковые роты из обозов, из сапёрного батальона и батальона связи.

Круглосуточно дежурят в траншеях наши пехотинцы, сменяясь для отдыха в лесных шалашах. Мои же телефонисты и разведчики дежурят на ПНП у аппарата с шести часов утра до наступления темноты. Такой льготой обязаны мы командиру батареи Калугину, и как же в душе каждый из нас благодарен ему за это, безусловно, разумное распоряжение. Из командиров дежурю больше всего я, дежурит и Калугин.

Несколько раз вели мы пристрелку деревни. Наметил я и пристрелял ориентиры. Нанёс их на планшет, на вычерченную мною топографическую карту. Сделал привязку батареи: за

тринадцать с половиной километров она от нашего наблюдательного пункта. Стреляет почти на предельном угле возвышения. Стал я вести журнал наблюдений, записывать каждое передвижение немцев, изучать жизнь в деревне. Предельно замерла эта жизнь — жителей не видно.

...7-00. Прошли двое, без оружия, к сараю, что на околице.

7-10. Те же двое вышли из сарая, ушли по улице в деревню.

11-45. В первой траншее появилось три немца. Один в очках. Ведут наблюдение с биноклем. Одиночный выстрел с нашей стороны. Спрятались. Осторожно выглядывают.

11-55. Мы выставили на палке котелок, поставили на край окопа. Пробит тут же пулей.

12-15. Немцы покинули траншею.

14-00. Двое немцев везут по улице пушку. Открыли огонь по нашим окопам. Пушка автоматическая, сделала двенадцать выстрелов. Снаряды рвутся в лесу, сзади нас. Попаданий не было. На нас сыпались ветки с деревьев. Бойцы зовут пушку собакой.

14-15. Открыл ответный огонь батареей. Два снаряда на орудие.

Вот записи из моего журнала наблюдений, Но кто, кроме меня, читает их? Кто, кроме меня, знает пристрелянные реперы и ориентиры? Никто. Показывал командиру батарее, тот пожевал губами — ничего не сказал. Не похвалил, не поругал. Не интересуется. А скорее всего — не разбирается, мало что понимает. Большую часть времени он проводит в палатке командира батальона, там же капитан Фокин. Я ни разу не был в той палатке. У нас Калугин появляется редко.

Мучает голод, и заметно стало истощение бойцов. Они слабеют. Спят или дремлют у костра. Днём с трудом подниматься стали.

<i>10 марта 1942 года</i>

Полулежу на левом боку, потрескивают берёзовые поленья в костре, разбрасывая во все стороны короткие огненные искры. Костер не погасает ни днём, ни ночью. Шалаш низкий-низкий, как и другие кругом. Встать на колени, не подперев головой ветки, можно только у костра в центральной части шалаша. Большая площадь не используется, и не только потому, что по краям низко: холодно там очень! Достаточно полежать совсем недолго, чтобы бок и спина промёрзли. Четверо или пятеро уже наполняют наш шалаш, да ещё залезаем наполовину друг на друга. При этом образуется удобный первый ряд и “места

неудобные”, как в театре, — на ярусах или бельэтаже.

До чего же насыщены эти дни событиями!.. Впрочем, представляется мне, что большинство этого не замечает. Так же, как равнодушны к красоте окружающей природы, как не чувствуют многих замечательных движений рядом находящегося человеческого сердца. Мысли, наполняющие каждого и с большим постоянством, — в первую очередь о еде. Потом о сне, об отдыхе — скоро ли отведут в тыл, на переформирование? Как туго натянутые струны, где-то в глубине сознания трепещет мысль о близости немцев, о неизбежности предстоящих столкновений, которые для многих окажутся роковыми.

У некоторых эти мысли читаются в плохо скрываемом страхе и ужасе перед надвигающимися событиями. От них — неестественное, сильное возбуждение, плотно сжатые и слегка перекошенные рты, хмурящиеся глаза, прячущиеся в глубоких морщинах, звенящие, отрывистые фразы. Иные находят забвение в молчании и работе: пилят молодые берёзы, выбирая те, что постройнее, колют дрова, отгребают лопатами снег, чистят котелок, почерневший на огне немногих костров, любовно и умеючи поддерживают костер, выкладывая его “шалашиком” или “в клетку”. Первый способ предпочитают, доводят костер из свежеспиленной берёзы до гудения, до бездымного жара, с ярко-белым пламенем в середине. Особенно искусно разводит костер Смирнов: тайга, Сибирь — его родина. Есть и такие, кто, вроде Козлова, засыпают чуть ли не ежеминутно. Есть и подавленные всем происходящим, с угрюмым, убитым видом, с высокими нотами в голосе при ответах. Рвущихся вперёд не видно. Делających вид, что стремятся в бой, — мало (например, капитан Фокин), а вот готовых всегда подняться и идти куда прикажут, подняться неохотно, неторопливо, но с сознанием необходимости и священности своего дела, — таких много, все почти. Скрытые трусы, как старшина батареи Мамонов, или дезертиры, вроде Даньчина и Кривоногова, — это исключение, одиночки.

Вчера командир дивизиона капитан Фокин решил пойти в разведку. Взял нас, офицеров дивизиона, человек десять, столько же захватил рядовых бойцов. Пошли на лыжах снежной целиной, лесом. Кто-то впереди прокладывал две параллельно идущие лыжни, вскоре они в одну слились. Я скользил где-то в середине, за мной шлёпали, не отставая, лыжи капитана. Вышли из леса на широкую просеку с наезженной зимней дорогой, с гудящими на морозе телефонными или телеграфными столбами.

— Перережь провода. Оставь засаду на месте обрыва, — приказывает мне капитан.

В душе возникает чувство большого недовольства этим

приказанием. Ведь как залезть на столб? Каждый из нас, облечённых в многослойную одежду, напоминает бочку. По горизонтали — и то тяжело передвигаться; ещё труднее нагнуться к лыжам, поправить крепление — тут семь раз вспотеешь! Как же на столб лезть, и чем провода резать? Впрочем, это только мысли, мгновенно проносящиеся. Вслух произношу другое.

— Не лучше ли на обратном пути это сделать? — говорю я капитану.

— Давай на обратном, — соглашается он, — а засаду оставь сейчас же.

Оставляю троих. Пересекли просеку. Идём дальше.

Прокладывающие лыжню автоматчики неожиданно остановились. Потом развернули лыжи под прямым углом влево, прошли метров двадцать, снова остановились — рассматривают что-то. Подошел к ним я, а за мной капитан. На снегу лежит вниз лицом молодой красноармеец в солдатской шинели с тощеньким вещевым мешком, с зажатой в руке винтовкой. Перевернули его на бок, на спину. Замёрз! Не видно, чтобы был ранен. Порылись ребята в вещевом мешке, в карманах труп, нашли красноармейскую книжку, вслух прочитал кто-то фамилию. В сумке оказался замёрзший кусок чёрного хлеба. Взяли хлеб, красноармейскую книжку, винтовку, оставили труп в лесу, пошли дальше. Странно было видеть молодое мальчишеское лицо без усов, с легким пушком на щеках, как бы уснувшего солдата, в одном обмундировании, не тронутого ни пулей, ни осколками. Тяжело укладывалось в сознании, что это мёртвый. Может быть, в далёком тылу, в живописно раскинувшейся на холмах деревне или в чистеньком полусонном провинциальном городке с сугробами и собаками мать вспоминает, поджидая, сына?..

Светит солнце. Хлопают и шуршат по снегу лыжи и палки. Идём молча. Чаше стали останавливаться: приустили. Лесу конца не видно. Капитан приказывает поворачивать обратно. Разбрелись, разворачиваясь. Кто-то по своим делам в чашу углубился. На обратном пути захватили оставленную мною засаду. Ушли, так и не порезав провода. Может быть, капитан забыл об этом? Или соображения, подобные моим, осенили его голову? Немцы на дороге не появлялись.

Вернулись из “разведки” в сумерки. Вскоре пришёл Калугин, велел собрать взвод: будет читать приказ Верховного Главнокомандующего.

Повыползали мои ребята из шалашей. Столпились.

— Построить всех? — спросил я командира батареи.

— Не надо, — говорит, — так расскажу.

Приказа он не читал, а сказал, что есть приказ сверху,

“Самим” подписанный, о строжайшей экономии боеприпасов. В сутки разрешается тратить не больше трёх снарядов на орудие. Боеприпасами будут помогать нам союзники, есть такая договоренность, что отмечено, говорит, в приказе. Относится приказ ко всем артиллерийским и миномётным подразделениям.

Слушали сообщение о приказе молча, угрюмо. Кончил — разошлись по шалашам. Сегодня наши пушки весь день молчали.

Пробрался в шалаш миномётчиков. Их батареи разместились довольно высоко на лесной горюшке. В стороне от неё — шалаш миномётчиков и палатка командира и комиссара миномётного дивизиона. Зашёл к ним, познакомился. Кажется, хорошие, сердечные люди. Сидят вдвоём, помешивая в костре полешки. Разговоры о голоде, об упавшем духе бойцов, об ограничении расхода боеприпаса до трёх мин на миномёт. И кончаются разговоры всё одним и тем же безнадёжно висящим вопросом: скоро ли в тыл, на отдых и переформирование?

Разговариваем хотя и сдержанно, осторожно, — ведь совсем мало знаем друг друга! — однако насколько же откровеннее и свободнее, чем там, в тылу, в Москве, в казармах, где каждый и стен-то боится, помня, что и у стен есть уши. Говорим о бессмысленности большинства наших переходов и передвижений, о безумной трате людей, снарядов, о непродуманности и, по-видимому, отсутствии плана нашего наступления. Больше же всего разговоров о затруднениях с продовольствием, о том, как оно разворовывается в пути следования к передовой линии.

И просто молча сидим, сосредоточенно глядя на огонь, грея и без того почерневшие от костров пальцы.

Комиссар миномётного дивизиона (старший политрук по званию) больше всего помалкивает, печально уставясь в огонь.

Командир дивизиона, лейтенант, представляется сердечнее и общительнее, поругивает командование за беспорядки на фронте довольно откровенно. Комиссар делает иногда слабые попытки монотонно противоречить. Звали меня заходить к ним. Обещал. Приду обязательно.

Ходил также к командирам противотанковых орудийных расчётов.

Командир первого взвода, у самой дороги в кустах расположившегося, показался мне привлекательным и симпатичным. Давал ему свой бинокль, так как воюют они даже без артиллерийских биноклей. Не снабдили!...

Лошади и волокуши, замаскированные пушистым снегом, стоят среди густых молодых ёлочек. От пушек до немецкого оборонительного вала семьсот-восемьсот метров. Это самый передний край, надо всё время начеку быть! Только передовой

пост батальона впереди метров на двадцать. Топчутся на снегу артиллеристы — и их пушки не стреляют.

Хорошо, хоть винтовочных патронов с избытком у нас, в них нет ограничения. Да патроны от нагана — в россыпи — основательно оттягивают карманы моей шинели, проглядывающей через пожелтевший и посеревший масккостюм, местами прогоревший уже и разорванный.

<i>12 марта 1942 года</i>

Стало известно: комиссаром нашей морской стрелковой бригады на место убитого под Хохелями Владимирова назначен батальонный комиссар Моцкин, а на место Моцкина комиссаром артдивизиона назначен Зуяков. Есть и другое известие, о котором говорят глухо, один на один, полущёпотом: комиссар бригады Владимиров был убит выстрелом в спину. Извлечённая пуля оказалась от нашей трёхлинейной винтовки.

...Большое повышение получил наш комиссар! Моцкин, вероятно, предугадывал его. То-то видел я на его лице какое-то самодовольство и радость, когда он стоял на днях у походной батареейной кухни и командовал раздачей баланды. К этому занятию, я не раз подмечал, он имел большую склонность. Удивительно несимпатичная, даже, пожалуй, отталкивающая личность этот Моцкин. Мне он ничего вредного пока не сделал, однако как-то инстинктивно от него хоронишься, стараешься близко не подходить, не общаться. Перебирая в памяти события последних дней, понимаю теперь, что не случайно оказался он в числе сопровождающих полковника Смирнова — командира нашей бригады. О встрече с полковником, раз к слову пришлось, и о последствиях её стоит рассказать. Для меня это яркое, запоминающееся событие.

Дело было утром, на следующий день после боя за деревню Хохели, в котором погиб батальон уральских юношей. Я шёл из Речицы на батарею по той самой дороге, на которой накануне голландский жеребец так лихо вез сначала меня, а потом немецкую кухню. Теперь этот Серый усердно трудится в нашем обозе, связывая батареи с ближайшей базой в деревне Холмы — шестьдесят километров в одном направлении. Как говорит Максимцев, ездовые не нахвалятся Серым, его трудоспособность и выносливость феноменальны. Впрочем, и ест за троих.

Итак, когда я брёл, торопясь и спотыкаясь в снегу, по безлюдной лесной дороге, встретилась мне на гарцующих лошадях кавалькада — человек пятнадцать офицерского состава.

В середине, на холёном трофейном красавце из-под убитого немецкого офицера, ехал полковник — командир бригады. Сзади него трусил Моцкин.

“Почему он попал сюда?” — думал я тогда, глядя на Моцкина.

Когда кавалькада поравнялась со мной, я, сторонясь лошадей, свернул в снежную целину и остановился. Узнав полковника, встал в положение “смирно”, поскольку это было по колено в снегу возможно, повернул голову влево, руку приложил к головному убору.

Внезапно полковник, с багровым лицом и выпученными глазами, повернул на меня не желавшую стоять на месте лошадь и прохрипел:

— Кто будешь?..

Я громко и чётко отрапортовал, не отнимая руки от головного убора, назвал свою должность и фамилию.

— Артиллерист? Дивизиона Фокина? Сволочи! Предатели! — задохнулся от гнева грузный полковник. — Да знаешь ли, что из-за вас, — он добавил непристойное ругательство, — весь командный состав батальона погиб под Хохелями! Растреливать вас нужно! Сейчас же расстрелять! — закричал он, вытащив наган и направляя его на меня.

Один из командиров, находившийся рядом с полковником, быстро нагнулся, поддержал его руку с наганом и сказал вкрадчиво, но твёрдо:

— Он не виноват, товарищ полковник, он здесь совершенно ни при чём...

Полковник отбросил его руку, но свою с наганом опустил и, продолжая злобно сверлить меня бессмысленным, диким взглядом, сказал:

— Иди немедленно в штаб бригады, доложи начальнику штаба бригады, что под Хохелями погиб весь командный состав первого батальона.

— Есть доложить начальнику штаба бригады... — громко повторил я приказание и отдёргнул от головного убора руку.

Кавалькада двинулась дальше, конские копыта зацокали по дороге, а я снова побрёл, с болью и грустью думая о происшедшем. Где расположен штаб бригады? Разве я знаю это?..

Через полчаса я стоял рядом с командиром батареи Калугиным, с горечью рассказывал ему о своей встрече с полковником. Калугин косо смотрел на меня, моргая своими маленькими серыми глазками, жевал губами, как обычно.

— Что же мне делать? Не отмените ли вы приказание командира бригады, ведь оно явно бессмысленно, а он сильно

пьяный, это очевидно. Он же ехал, конечно, из штаба и со штабными. Разве можно допустить, что начальник штаба бригады не знает исхода боя под Хохелями? И где размещается штаб?

— Ну нет, мне моя голова дорога, не могу отменить приказание полковника, — ответил Калугин, мотнув отрицательно головой. Лицо его было серьёзно. — Бери Умного, вон он к берёзе привязан, да и поезжай с Богом! Штаб бригады отсюда километров пятнадцать, по дороге на Холмы. Найдёшь! Возвращайся только скорее.

— Как же я без седла поеду? Да и не залезть мне на него, — жаловался я окружившим меня артиллеристам, сочувствующим мне и подававшим мне Умного.

— Ничего, товарищ лейтенант, не горюйте, справитесь, вот мы вам одеяльце подложим да подсадим вас.

— Одного одеяла мало, давай два, — сказал кто-то.

Подняли меня чуть ли не на руки, и вот я уже на Умном, на суконных красноармейских одеялах.

Без седла да без стремян быстрее чем шагом ехать не решаюсь. Дорога скверная, снег рыхлый, утопан плохо, хотя немало по нему прошло народа.

Минуло всего минут пять-десять, как я в пути на этой глухой, неширокой просеке, и трагичность путешествия стала мною живо осознаваться.

Одеяла стали выползать из-под меня, несмотря на то, что тащился конь медленно, шагом.

Сообразив скорее, что седок исключительно неумелый, Умный стал переходить с одной стороны просеки на другую, чтобы дотянуться до замеченной им берёзовой ветки с прошлогодними листьями. На мои понуканья в этих случаях он не обращал внимания. Расстроившись от всего происшедшего, а также от мысли — какое же потребуется нам время на преодоление таким порядком пятнадцати километров из штаба, я попытался заставить Умного бежать рысью. Это долго не удавалось — слишком он был истощён. Когда же всё-таки попытался перейти на рысь, то одеяла по очереди оказались у меня в руках, на коленях, и я заёрзал на острой лошадиной хребтине. “Так ехать невозможно”, — решил я и подъехал к дереву с высоким пеньком, чтобы воспользоваться ими, слезть и водрузить одеяла на место.

Умный понял моё намерение, воспротивился ему и решительно пошёл один вперёд, потянув меня за уздечку, которую, конечно, я из рук не выпускал.

Некоторое время мы брели рядом, оба выбиваясь из сил в рыхлом снеге, но я выбивался больше. Наконец, остановились в

недоумении. Как быть? Что делать дальше? Залезть на Умного я попробовал. Нет, решительно не могу!

Выход нашёлся. Вскоре показалась на просеке лошадь. В санях — один ездовый. Я завалился рядом с ним, сзади послушно шёл привязанный к саням Умный.

В лесу справа показались люди, шалаши, палатки. Из одной палатки, большой зелёной, вышел ко мне высокий, с сединой, подполковник — начальник штаба. Я доложил ему то, что приказано мне было командиром бригады.

— Знаю, знаю, — печально покачал головой вверх и вниз начштаба. — Полковник был очень, очень расстроен, очень переживает всё, — добавил он в ответ на высказанное мною соображение о ненужности проделанного пути для передачи известного сообщения.

— Можно идти? — спросил я, видя, что больше и ему говорить нечего, чувствуя, что он всё понимает.

— Да, возвращайтесь, возвращайтесь, — промолвил он, повернулся и скрылся в палатке.

Однако отвлёкся я со своим рассказом, вернусь к Моцкину. Так вот почему батальонный комиссар Моцкин был тогда в свите командира бригады! Вспомнилось мне также, с какой глубокой ненавистью говорил о Моцкине мне как-то Певзнер — человек очень выдержанный, умный, интеллигентный. Он называл Моцкина большой сволочью, говорил о том, что он во всем старается придраться к нему. Поедом ест его, невзлюбил за что-то.

— За что же именно? — спрашивал я.

— За мои честные и прямые высказывания на партбюро и партсобрании, — отвечал Певзнер.

Подробнее я, беспартийный, считал себя не в праве расспрашивать. Они оба — коммунисты, оба евреи, но в прямоте и честности Певзнера я уверен. Вчера же мне довелось убедиться и в его храбрости.

Батальон делал попытку атаковать Князево. Этому с вечера предшествовали артподготовка и обстрел деревни из миномётов. Но что это за “артподготовка”, когда за несколько минут была израсходована двухдневная норма снарядов, и пушки наши снова замолчали?! Немцы на наш огонь не ответили.

Наступили сумерки, когда я увидел, а ещё раньше слышал ползущий мимо нас по дороге трактор ЧТЗ с орудием 1-й батареи. Рядом с пушкой вместе с бойцами оружейного расчёта шёл Певзнер, внешне спокойный, но с необычно бледным лицом, окаймлённым густыми рыжими бакенбардами с бородкой.

— Куда ты?

— Стрелять прямой наводкой по деревне, выполняю личное приказание нового комиссара бригады, — отвечал Певзнер.

Я ничего не сказал, но тут же пошёл вслед за ним на передовую линию. Как же эта тихоходная, неповоротливая машина выведет орудие на открытое место? Это же самоубийство, или, правильнее говоря, преднамеренное убийство. Посланы на верную гибель и он, и его люди. Я остановился, схоронившись за ёлкой, около стрелявших по деревне орудий противотанкового дивизиона.

Кончилась лесная доргога, трактор ЧТЗ, утопая в снегу и оглушая окрестности своим рёвом, выполз на открытую поляну перед деревней, развернул орудие, отцепился, затарахтел, отходя в сторону. Бледные артиллеристы работали быстро, Певзнер стоял во весь рост, открытый, как перед расстрелом, на фоне высокого леса, и подавал команды. Выстрел... Второй, третий... Снова подошёл трактор. Снова прицепили орудие артиллеристы.

Деревня как бы спала: ни звука оттуда. На наш огонь опять нет ответа.

Начатое в три часа ночи наступление батальона вместе с приданной ему ротой автоматчиков было встречено немцами ураганным огнём из пулемётов и минометов.

Обе принадлежавшие немцам траншеи перед деревней были быстро захвачены нашими пехотинцами, но атака захлебнулась.

Всю ночь во время боя я провёл на передовом наблюдательном пункте, не видя почти ничего, кроме осветительных ракет и трассирующих пуль, выпускаемых немцами.

С рассветом батальон отошёл обратно в лес, в снежные траншеи и окопы, оставив под ледяным валом на снегу неподвижные и шевелящиеся солдатские и краснофлотские шинели. Вскоре в бинокль хорошо было видно, как два немца с автоматами появились среди убитых и раненых на поляне, обходя каждого, но не нагибаясь, короткими очередями приканчивали ещё живых.

Ушли безнаказанно.

Совсем поредел батальон после этого наступления. В роте автоматчиков осталось только шестьдесят четыре человека.

Однако, как я заметил, убыль не спешат сообщать в штаб бригады. Больше того: сознательно уменьшают потери личного состава, так как продовольственные пайки поступают по данным строевых записок. Поэтому в сухарях или хлебе, во всяком случае, также в сахарном песке и водке там нет нужды, скорее изобилие, не то, что у нас, воюющих пока без людских потерь.

Сегодня мои ребята пытались просить хлеба и баланду у

соседей по шалашам — автоматчиков.

— Идите вон, собаки, ничего не получите, — услышал я от автоматчика, выплескивающего на снег из котелка остатки.

Люди стали, как звери! К своим так относятся! Не первый раз вижу и слышу такое. Чудовищно!

Вместо увезённого в тыл тяжело раненного Козлова мне прислали из штаба дивизиона нового помкомвзвода — Новикова, тоже коммуниста, как и Козлов. Первое впечатление: молчаливый, волевой, должно быть, требовательный. (К другим и к себе, или только к другим, как это часто бывает? Поживём — увидим...). Поместился Новиков в соседнем шалаше с остальными ребятами моего взвода. Имеет воинское звание старший сержант. Для фронта нынче — это без пяти минут средний офицер, младший лейтенант, как и я. Тут ещё такой был случай представился: позавчера вечером пришёл к нам бывший политрук батареи Зуяков, теперь комиссар артдивизиона. С ним “некто”, как оказалось впоследствии, из особого отдела. Собрали они весь взвод мой, точнее, тех, кто здесь, на передовой находится, начали вербовать добровольцев в “разведку с боем”. Командиром группы из тридцати пяти человек, как предполагается, идёт Новиков. Понял я, что это по партийной линии заранее было согласовано. Главная цель разведки: пробраться в Князево и привести “языка”. Каждому, кто добровольно согласится войти в эту разведгруппу, будет выдано по полтора килограмма хлеба, по 60 г сливочного масла, по тройной порции сахара, консервы “свинная тушёнка” — одна банка на двоих, по 150 г печенья, чай и четвертинка водки на человека.

Язык! Язык!... Тщетно пытается бригадная разведка, ныне возглавляемая бывшим начальником дивизиона лейтенантом Литвиенко, взять в плен немца — “достать языка”! Ничего не получается. Немцы ведут себя очень осторожно, всегда надёжно прикрываются достаточно мощной огневой техникой, так что взять хоть одного живым становится совершенно невозможно. В бою, во время наступления нашего, никогда трупов своих убитых не оставляют, тем более не бросают раненых: всех к себе утаскивают.

Говорят, гнев нашего командира бригады полковника Смирнова, обрушивающийся на незадачливых разведчиков и в первую очередь на командира взвода, не поддаётся описанию. Угрожает не на шутку расстрелом! Бедный лейтенант Литвиенко! Вот так завидная и спокойная должность начхима! В последний раз, получив грозный приказ полковника: без “языка” не возвращаться, всё же не выполнил его и притащил в качестве трофея и в подтверждение своей активности... рыжий немецкий

сапог с правой ноги какого-то солдата, которого они пытались отбить. Убегая, тот снял с себя сапоги для облегчения и один обронил дорогой. Подобрали сапог. Принесли... Полковник хотел немедленно судить Литвиенко военно-полевым судом (особый отдел тут же, далеко ходить не нужно), да упростили его... Снова ушёл Литвиенко, четвёртый день о нём и о его разведчиках ни слуху ни духу...

Пришедший с Зуяковым работник особого отдела не сидел посторонним наблюдателем, а принимал самое активное участие в вербовке добровольцев в разведгруппу. Он не раз точно повторял перечень продовольственных запасов, выделяемых в дорогу разведчикам. Говорил также о том, как нужен нам “язык”, объяснял вместе с Зуяковым пути возможного подхода и вторжения в деревню. Впрочем, объяснения эти были туманны: “подходы” к деревне они не видали. Новиков стоял тут же и бесстрастно молчал. Первым изъявил желание пойти в разведку Смирнов. Здесь он вынул из кармана и передал мне свою орденскую книжку: “Возьмите, товарищ лейтенант, сохраните её, мало ли что может случиться”, — сказал он при этом. За ним, немного поколебавшись, дал своё согласие идти в разведку Колесов. Такой прыти не ждал я от него! Думаю, что им руководил голод. Немного от нас охотников набралось — человек пять. Всех переписал лейтенант, внёс в список, который завершался. Наш взвод опрашивался последним. Я не “баллотировался”: вследствие назначения командиром спецгруппы Новикова я оказался “вне конкурса”.

Новикову в присутствии всех нас было разъяснено, что в случае удачно проведённой операции ему будет тотчас же присвоено звание лейтенанта, и он займет должность повыше, чем помкомвзвода. Новиков обещал не пожалеть сил.

— Ну, а кто может из себя “душу вынуть”, кто согласен принять самое ответственное поручение? — обратился ко всем лейтенант из особого отдела, тут же вскользь разъяснив, что значит “вынуть из себя душу”. Требовалось идти последним и уложить на месте всякого, кто решится повернуть назад во время выполнения боевого задания. Он ещё добавил несколько сильных фраз, убедительно доказывая, что главное в этой роли — беспощадность, однако никто не высказывал желания идти замыкающим и быть карателем.

— Ну, ладно, мы сами там подберем таких, — сказал лейтенант и поднялся, предложив всем тут же собираться и получать продовольствие. С Новиковым пошли говорить отдельно.

Были сумерки, когда разведка тронулась в путь.

Это было позавчера. А сегодня утром разведка вернулась без “языка”, без потерь и без усиленного пайка, который, конечно, съеден. Не знаю, что докладывал Новиков. Я, вернувшись с передового наблюдательного пункта, застал его спящим в своём шалаше. Будить не стал. К чему?

Впрочем, неверно, что вернулись без потерь. Один пропал без вести. Это рядовой Кривоногов из первого стрелкового батальона, куда он был переведен по приговору военно-полевого суда в Бологое за дезертирство в Москве.

Оказывается, забыли о том, что он штрафник. Вот и пошёл он добровольцем в разведку, из которой перебежал к немцам. Слышал я, как зло отругивался командир первого батальона Витязь, отбиваясь от наседавшего на него лейтенанта из особого отдела.

— Не знал я, — говорил Витязь, — что за дезертирство Кривоногов был переведён ко мне. Где это написано было? Когда и кем передано? Не было ничего — и спроса с нас быть не может! Чёрт его душу знает, что он из дезертиров.

Бойцы мои говорят, что уже сегодня на передовой немцы выставили громкоговорители и по радио кричали:

— Капитан Фокин, капитан Фокин! Берегите снаряды, мало у вас их осталось!

— Командир батальона Арсентьев! Доложите-ка командиру бригады полковнику Смирнову, что с голыми руками и пустым желудком ваши солдаты воевать не могут!... — и прочее в таком же духе.

Чёрт знает что такое! Бойцы больше всего удивляются, как чётко знают немцы фамилии наших командиров. Полагаем, что узнали от Кривоногова или ему подобных. Когда ходили с Фокиным в разведку, кто-то из рядовых тоже за нуждой в лес углубился, а обратно-то к своим не вернулся. Первые перебежчики... Печально.

<i>16 марта 1942 года</i>

Дни идут, но время тянется томительно долго: ведь так хочется вернуться к человеческим условиям жизни! Воображение рисует дом, тепло, деревянный пол под ногами, постель, простыни, ужин или чай в домашней обстановке. Далёким и недостижимым кажется всё это. Скорей бы в тыл, все изныли, изнемогли от холода, голода, нервного напряжения. Подумать только! Когда-то, находясь в карауле, два часа постоять на посту, на морозе было холодно. Четырёхчасовая вахта допускатась, если

мороз не сильный, и как же долго она тянулась! А сейчас? Не часы, а дни бегут, и всё в снегах, на трескучем морозе. Какой-то сплошной кошмар. Все обросли щетиной, появились усы и бороды. Никто не бреется, не умывается. Мои туалетные принадлежности в чемоданчике, а он с вещевым мешком мирно покоится в кузове какого-то трактора, за много километров отсюда, набатаре. Со мной лишь бинокль да неразлучная спутница моя — плечевая сумка с компасом, да наган за бортом шинели. Бывает, что заснет кто-нибудь в шалаше, точнее — задремлет, настоящего глубокого сна давно не было, — и патроны высыпаются из карманов, попадают в костёр, рвутся в огне — в шалаше поднимается стрельба. Все с бранью просыпаются, набрасываются на виновника, как на чужую собаку. Впрочем, скоро отходят, как только все попавшие в костёр патроны выстрелят. Уже не один раз было такое. И сам я в этих случаях сердился, и со мной так же, как и с другими, случалось. У меня патроны от нагана, у них — винтовочные...

Вчера снова был у миномётчиков. Вполз к ним в шалаш, застал удивительную и печальную картину: комиссар миномётного дивизиона сидел перед костром и плакал навзрыд, как ребёнок, утирал слезы кулаком:

— Не могу, не могу я выносить это больше, — говорил он.

Командир дивизиона сидел тут же, молча уставясь в костёр. Я попытался сказать что-то ободряющее, что пришло в голову. Продолжал говорить с комдивом. Комиссар вскоре перестал плакать, успокоился. Картина была тяжёлой, и задержался я у них дольше обычного. Поговорили о новостях... Переведённый в штаб бригады из нашей батареи командир огневого взвода лейтенант Юшин был назначен офицером связи. На днях он убит где-то между Извозом и Избытовым. Где? При каких обстоятельствах? Неизвестно... Некому ответить нам на эти вопросы...

Неизвестна также судьба Литвиенко — командира взвода разведки бригады, нашего весёлого бывшего начхима. Известно лишь, что из последней разведывательной операции его приволокли с разрывной пулей в лопатке, эвакуировали в тяжёлом состоянии в Холмы, в медсанбат.

Ещё рассказали они, что разжалован и смещён со своего поста начальник штаба бригады за неправильную информацию штаба армии. Когда были заняты нашими автоматчиками Речицы, кто-то доложил, что взяты Хохели, а он поспешил донести об этом в штаб армии. Хохели-то в стороне стояли и до сих пор не взяты. Вот за эту ошибку и поплатился.

Вернувшись к себе из миномётного дивизиона, узнал, что вечером собираются идти в деревню Речицы, помыться в бане,

командир первой батареи Соколов и наш комбатр Калугин.

— Собирайся и ты, пойдёшь с нами, — сказал мне Калугин.

А что мне собираться? Смена чистого белья и кусок мыла в вещевом мешке моём, на батарее. Пойдём-то мимо неё, а зайдем ли туда? Будут ли ждать меня они, пока я разыщу свои вещи? Путь предстоит километров в двадцать, по лесу и ночью.

— Ну как, пойдёшь? — снова спросил Калугин.

— Конечно, пойду. Готов идти в любую минуту.

Были сумерки, когда мы тронулись в путь. У лейтенантов — по автомату, у меня — наган.

17 марта 1942 года

Вот что произошло за истекшие сутки. Шли мы втроём на Речицы. Прошли ПМП — пункт первой медицинской помощи нашего медсанбата, добрались до батареи — тринадцать километров отмахали. Здесь на полчаса задержались. Я увидел уже не шалаши, а глубокие, добротные землянки с двойным или тройным накатом из круглого свежеспиленного леса, побывал у орудийных расчётов. Дымно очень в землянках от негаснущих костров. Бойцы спят на земляных нарах вдоль стен. Нашёл я своих телефонистов. Указали мне и трактор, где должны быть мои личные вещи. Однако в кузове трактора такая гора вещевых мешков, что разыскать в темноте свой, привязанный к чемоданчику, оказалось делом просто невозможным.

— Ну как, готов? — столкнулся я с Калугиным.

— Готов, только не нашел ни белья, ни мыла. Вообще вещевой мешок свой не нашёл, не добрался до него, — ответил я.

— Ну, кусочек мыла я для тебя найду, — сказал Калугин.

— Ладно, пойду в старом белье, — решил я.

Остальной путь до Речицы мы проделывали ночью. Впереди шёл Калугин, за ним, в двух-трёх шагах, Соколов. Мне приказано было идти замыкающим, на дистанции десять-пятнадцать шагов, охранять с тыла. Сидящие в засаде финны или немцы имеют привычку пропускать вперёд и нападать сзади или брать в клещи.

Шли молча, временами приостанавливались, переговаривались шёпотом — тогда я подходил к двум маячившим впереди чёрным силуэтам. Я чувствовал, что и Калугину, и Соколову очень жутко, чувствовал, что нервы их напряжены до предела. Про себя же могу сказать, что почему-то не очень было страшно, хотя вглядывался в каждый чернеющий куст причудливой от снега формы, и наган иногда не за бортом шинели покоился, а был в руке, готовый к выстрелу. Временами

держал его на боевом взводе. В лесу особенно темно, так как просека была узкой, а вековые сосны по её сторонам своими вершинами совершенно закрывали небо. Валенки утопали в снегу, сбивались то и дело с тропки, потом вновь нащупывали её. От сравнительно быстрой и напряжённой ходьбы было жарко.

Скоро уж и перекрёсток с трупами немецких офицеров.

Внезапно впереди нас раздался сильный душераздирающий крик. В сплошной темноте и тишине ночи это показалось неприятным и страшным. Мы остановились и замерли.

Крик повторился. Кто-то кричал, по-видимому, впереди на дорожке, шагах в пятидесяти от нас. Я медленно подошёл к неподвижно стоящим лейтенантам. Прошли минуты ожидания.

— Кто это — зверь или человек? Как будто режут кого-то? — спросил я.

— Лошадь! — сказал, немного помолчав, Калугин.

Мы двинулись осторожно дальше. Пройдя шагов тридцать, увидели лежащий в снегу лошадиный труп. Остальной путь до деревни прошёл без приключений.

Неузнаваемы стали Речицы! Вместо цветущей, целёхонькой деревни с крепкими избами, какой я её оставил в последние дни февраля, передо мной пожарища на месте домов или остовы домов с торчащими брёвнами, провалившимися крышами. Немцы мстили частыми артиллерийскими налётами за отбитую деревню и взятые нами в ней продовольственные склады.

Маленькая баня стояла в центре деревни и оказалась запертой на большой висячий замок. Признаков того, что она топилась, не было.

Соколов пошёл разыскивать кого-то, мы терпеливо ожидали на безлюдной улице. Оказалось, что баня топилась вечером. В ней было сравнительно тепло, примерно 16—18 градусов. Худо было с водой: её было немного, и она была уже чуть тёплой. Голову мыть такой водой я не решился — не промоешь, конечно. Сполоснул себя, используя данный мне Калугиным обмылочек. Этим банный день был исчерпан.

В третьем часу вернулись на батарею. Оба лейтенанта решили, не заходя на неё, идти на передовую. Мне Калугин предложил остаться.

— Придёшь к шести или к семи часам, будешь днём дежурить на ПНП, — сказал он.

Я забрался в одну из землянок, где были телефонисты моего взвода. Продремал часа два.

В шесть часов я уже подходил к нашим шаламам у передовой линии.

Выйдя на дорогу у занесённых снегом немецких ДОТов, я

услышал беспорядочную стрельбу. Треск автоматов перемешивался с короткими очередями из пулемёта.

Я ускорил шаг. Поравнявшись с шалашами, увидел бегущих к линии окопов Калугина и бойцов моего взвода. Побежал за ними.

— В чём дело? — спросил я, догнав их.

— Немцы атакуют, — прокричал Калугин.

Видно было, как у него стучат в нервной дрожи зубы.

Мы бежали по дороге к снежным траншеям передовой линии. До них было метров двести. Стрельба стихала, пулемёт замолчал, из леса доносились редкие очереди автоматов.

У конца дороги стояли группы возбуждённых стрелков батальона и артиллеристы противотанковых пушек. Из траншей выносили убитых.

От стоящего здесь знакомого лейтенанта-артиллериста и пехотинцев мы узнали обстоятельства закончившегося уже дела. Сводилось всё к следующему.

За спиной дежурившего в траншеях батальона стоял дремучий лес, занесённый снегами, и не пришло никому в голову, что оттуда может быть нападение. На самом деле: немцы любят хорошие, укатанные дороги, в снежную целину не лезут. Поэтому не было принято батальоном мер к охране и обороне тыла. Была, правда, ведущая в лес, полузанесённая снегом тропка. Её, говорят, приказано было заминировать, однако выполнено это не было.

Утром, в шесть часов, человек шестьдесят немцев с одним ручным пулемётом пробирались один за другим из соседней деревни в Князево. Шли по этой занесённой снегом тропке и подошли с тыла к дежурной роте батальона, точнее, к её остаткам, дежурившим ночью в окопе.

Их не ждали, и будь они порешительнее и посмелее, смогли бы учинить нам полный разгром: напасть сзади на наших стрелков с пулемётами, обращёнными в сторону Князева, на артиллеристов дивизиона противотанковых пушек, повернуть по дороге к нашим шалашам...

Командир немецкого отряда, пробиравшегося в Князево, возможно, не был решительным и смелым или плохо знал обстановку. Он не напал на наши шалашы у передовой, хотя у них не было охраны, не разгромил, не захватил наши пушки, миномёты и пулемёты. Так поступил бы, пожалуй, каждый русский, привыкший даже на войне, не зная обстановки, больше всего на авось полагаться.

Командир немецкого отряда решил иначе. Он поставил ручной пулемёт в конце тропинки, на широком пне, для прикрытия обходного маневра. Весь отряд пустил по целине

в обход наших шалашей и ходов сообщения. Пройти незамеченными немцам не удалось. Наши пехотинцы, сидящие в передних траншеях, увидели немцев, открыли по ним беспорядочный огонь и заметались. Пулемётчики, вместо попыток повернуть на 180 градусов станковые пулемёты, вытащили затворы и бросились бежать.

Немцы заметили панику, открыли огонь из автоматов, спустились в траншею и, уходя по ним в глубину, к Князеву, напали на бежавших. Телефонист, сидевший под сосной нашего ПНП у телефонного аппарата и успевший сообщить по линии о нападении немцев, остался на месте с головой, разможжённой ударом приклада.

Немцы ушли, унося с собой трёх убитых.

Наши потери — двадцать семь человек.

Печальные итоги! Тропинку теперь заминировали, да поздно! Ходил, смотрел пенёк, на котором стоял немецкий пулемёт, следы движения немцев.

Не скажи мне Калугин на батарее в три часа ночи “останься”, был бы я в шесть утра на ПНП под сосною, попал бы в центр всех событий.

Разве не чудесно это? Разве можно приписать такой факт, как сохранение жизни, слепой случайности? Здесь особенно ярко чувствуешь и понимаешь, что случайностей нет в мире, а слепых случайностей тем более. Многие, вижу, полностью не осознают, но сердцем чувствуют это.

Ещё одно печальное известие: Мальцев, уже не лейтенант, а рядовой первого стрелкового батальона, в последнем наступлении на Князево был слегка ранен — пуля зацепила шею. Его отправили в Хохели, в медсанбат, на две недели.

— Пойду отдохну немного, чайку хоть попью, согреюсь, — говорил Мальцев уходя забинтованным в медсанбат.

В Холмах, говорят, в полдень, уже на мартовском, пригревающем солнце вышел из избы с самоваром, стал у крыльца разводить его.

Пролетел немецкий истребитель, дал очередь из пулемёта, и остался Мальцев на месте: пули в живот угодили. Неужели не случайность это?

Представляю себе, как получит его маленькая жена извещение с фронта с стереотипной фразой: пал смертью храбрых за Родину, как будет рисовать себе картины боя, атаку, и никто не расскажет ей правду, не опишет Холмы, деревенские рубленые избы, сугробы снега, раненого мужа на корточках у самовара...

Впрочем, вымысел, воображение никогда не потрясает так, как простая, неприкрашенная правда. Ей легче будет не знать её,

будничную, серую, не героическую.

В памяти встаёт маленькая женщина, опирающаяся на руку своего мужа, вполне гражданского, с седой головой и животиком, одетого в военную морскую форму. Такими видел я их и познакомился с ней на прощальном и пьяном вечере в Москве, в холодных и неудобных Хамовнических казармах.

19 марта 1942 года

Жуткое дело случилось со мной вчера вечером. Было уже темно, когда я, усталый и ослабевший, вернулся в шалаш с ПНП. Днём ходил на батарею, проверял линию связи и дежурство на промежуточных, менял позывные. Теперь их даёт нам штаб дивизиона, но нерегулярно как-то.

Мы — то названия городов, то реки, то чёрт знает что такое. Уже были Москвой, Ленинградом, Окой, Волгой, Любой и Уткой. Были Калугой, Фокой... В шалаше сидели два телефониста, у аппарата — Колесов. Я вполз в шалаш, пристроился, как всегда, с левой стороны у костра, погрел и посушил варежки, поговорил немного с полусонными телефонистами и вскоре забылся тяжёлым сном. Сплю — и что-то страшное снится мне, какой-то непонятный кошмар, из которого никак не могу выйти, скриплю зубами и чувствую собственный стон от какой-то сильной боли. Проснулся и мгновенно понял, в чём дело: левая рука моя, так некстати бывшая в трёх варежках, — если третьей считать наглухо завязанную у кисти рукавицу маскостюма, — откинувшись лежала в костре, пылая, как разгоревшееся полено. Ребята мои крепко спали.

Вскочил я и громко выругался, отчего оба проснулись и отрезвели, стал сдирать с себя варежки, но, чувствуя, что от боли не справлюсь с этим, а завязки мешают, бросился вон из шалаша. Горящую кисть левой руки я сунул глубоко в снег — сбил пламя, но боль была нестерпимой: пришлось силой срывать варежки. Одна была шерстяная, другая на вате. Вата продолжала тлеть, и срывать варежки надо было раньше, сразу.

Скрипя зубами от боли и время от времени засовывая руку в снег, пробрался я в шалаш к Певзнеру.

— Жорка, помоги, выручай!

Но он ничем не мог помочь мне. Посмотрел при свете костра на пузырь, вздувшийся на левой ладони, посоветовал дожидаться рассвета и сходить на пункт первой медицинской помощи, это по дороге к батареям, километра два отсюда.

До сна ли было ночью? Бродил, размахивая рукою, не зная,

куда деваться...

Чуть брезжил рассвет, а я уже шагал по дороге на батарею. И уже совсем светло стало, когда я разыскал в густом лесу в стороне от дороги палатку с красным крестом медсанбата. Вошёл. Молодая девушка с треугольниками в петлицах красноармейской шинели сидела одна перед жарко горящим костром, шевелила в нём палкой. Удивительно милым, свежим и симпатичным было лицо этой медсестры. Веяло от неё чистотой, сердечностью и большой женственностью. Может быть, на самом деле она не была так хороша? Может быть, редко видя женщину на фронте, мы соскучились, отвыкли от спутниц нашей жизни, и поэтому такая встреча подобна впечатлению от живого цветка, неожиданно брошенного в окно тюремной камеры? Не знаю. Бесспорно, какие-то добрые чувства пробуждаются, какое-то хорошее движение души происходит при встрече с женщиной в мужской фронтовой обстановке. Что-то согревало сердце, когда в дни наступления батальона на Князево по дороге на передовую шли две девушки-санитарки с полбуханкой чёрного хлеба подмышкой — встречали раненых. При этих девчонках стыдно было струсить или пасть духом, опуститься. Своим видом одним они вселяли не только добрые, но и бодрые, мужественные чувства.

Искося поглядывал я на хорошенькую медсестру, пока она промывала мне левую кисть слабым раствором марганцовки и бинтовала руку. Ожог оказался серьёзным — мизинец обгорел до кости, даже обуглился. Я рассказал медсестре всё, как было. Обработывая руку, она сокрушалась над тем, что произошло, а попутно сообщила мне, что врача нашего дивизиона, женщину, запомнившуюся мне с Хамовнических казарм, сразила пуля в первом же наступательном бою под Князовым.

— Прямое попадание в лоб, она без каски была, — заметила медсестра.

Невольно вспомнилось мне, какую разгульную и развратную жизнь вела эта женщина-врач. С кем только в связи не была! Последнее время, длительно, с комиссаром Зуяковым. А внешность имела прямо-таки отталкивающую — пигалица какая-то! И снова мыслью и взором переносился я на стоящую против меня девушку и, отбросив утвердившееся в душе предубеждение к женскому медперсоналу армии, думал о том, что нравственная и физическая чистота, как правило, сочетаются в человеке, а в данном случае они, бесспорно, — неотъемлемые качества этой медсестры. Как странно видеть такое в этой страшной фронтовой обстановке, в лесу, в снегах, когда кругом гуляет смерть, а в воздухе висят отменные ругательства и проклятья.

Медсестра расспрашивала меня о передовой, о настроении бойцов, высказывала соображения о слабости нашей обороны. Особенно не отрадными казались они на фоне сообщений Совинформбюро о тяжёлых боях на других фронтах войны. Радио слушать нам было негде, и газеты на передовую не приносили, поэтому то небольшое новое, что было известно ей из газет, живо интересовало меня. Очень сокрушалась она, говоря о наших больших людских потерях, о раненых, которые через её руки проходили, говорила обо всём так задушевно, так искренне, что и мать, и жена, и друг чувствовались за её словами. Да, не только физически было тепло в палатке ПМП, и как же не хотелось уходить оттуда!

Я, в свою очередь, сообщил ей ставшую известной вчера на передовой новость: лейтенант Арсентьев — Витязь — смещён с поста командира первого стрелкового батальона, поставлен, кажется, командиром пулемётной роты. Но до свиданья, сестра! Чувство долга не позволяет мне задерживаться здесь более, чем это нужно для перевязки, скорее обратно, к своим, на передовую.

Светило солнце, обещая снижение мороза к полудню, но в мартовских лесах о весне не помышляешь. Снег по-прежнему пушист и мягок. Белым-бело кругом!...

Не везёт же мне с варежками! При погрузке эшелона в Кожухове у меня украли новенькие, на меху, рукавицы. Как в них было тепло и приятно! Вторые пропали в бою под Избытовым, при бомбёжке. Появились тогда самодельные ватные и чьи-то старенькие шерстяные, пришлось их носить. Теперь и этих на левой руке нет. Забинтованную кисть прячу в карман шинели, куда рука пробирается через дырку масккостюма.

Утром, после моего возвращения, захлестнул всех слух о подарках, якобы из тыла привезённых к нам на фронт. Откуда же пошёл слух? Ну, конечно, от телефонистов. Они — наши глаза и уши, презирующие расстояние и время. Днём только и разговоров: что привезли, вообще дадут ли, как распределять будут, много ли утечёт из присланного, пока через Горовастницу, Холмы, бригаду, дивизион, батарею попадёт сюда, на передовую.

Стояли сумерки, когда появился долгожданный Максимцев на “Полундре”. Надо же быть такому! Действительно, привёз подарки от неизвестных нам тружеников глубокого тыла. Из Сибири, говорит. А поточнее — откуда? Из какого края, области, села? Неведомо. Из Сибири, и всё тут!

Что же досталось каждому? По 10 штук пельменей, по шесть штук печенья, по сто грамм песку сахарного.

Спасибо и за это, далёкие и безвестные сибиряки! Тут же мы снег натопили, кипяточку попили и съели всё.

А Колесов снова бранится. Говорит: расчески, зеркала, портсигары, бритвы безопасные, лезвия и другое добро в подарках было, да не дошло до нас. Прав он, может быть. Связистам всегда всё известно. Пельменей было, надо думать, побольше. Жаль, что не оказалось варёжек для меня. А может быть, тоже были да сплыли?

Стараюсь всячески отогнать от себя такие мысли, не поддаваться общему тону озлобления. Стараюсь не думать о плохом и тяжёлом, а подчас и мерзком, что окружает. На всё надо смотреть радостно и покойно. В этом — победа. В этом — залог жизни. Кругом смерть, а в неё вот не веришь как-то.

Послезавтра сестра назначила снова прийти к ней, промыть руку марганцовкой, сделать перевязку. Обязательно пойду. Так хочется почему-то увидеть эту сестру ещё. Нет худа без добра, как говорится. И нестерпимая боль в руке ведь вознаграждена в какой-то мере.

<i>28 марта 1942 года</i>

Сегодня я наблюдал впервые за время пребывания на фронте воздушный бой нашего “ястребка” с “мессершмидтом”. И вообще это первый самолёт наших военно-воздушных сил, который довелось видеть, в то время как их “юнкерсы”, “фокке-вульфы” и “мессершмидты” ежедневно и довольно часто бороздят здешнее небо.

Шёл я после перевязки на передовую. Услыхал гул идущего на большой скорости самолёта, а когда вскинул глаза к небу, увидел незабываемую картину: наш истребитель и немецкий “мессершмидт” описывали громадные круги, гоняясь на предельной скорости друг за другом. При этом трудно было понять, кто из них нападает, стремясь догнать, а кто спасается бегством. Ни тот, ни другой не стрелял, да это было бы, вероятно, и бесцельным на такой скорости и при изумительных виражах, которые они проделывали в небе. Один взмывает вверх, другой — за ним. Один камнем падает чуть ли не до самой земли, другой пикирует также. Выходит из пике, несётся над землёй на бреющем полёте один, другой — не отстаёт, проделывает то же. Эта воздушная трагедия, которую в мирное время над полем аэродрома называли бы искусством высшего пилотажа, длилась, вероятно, секунды, может быть, одну-две минуты, потом оба истребителя унеслись и пропали за лесом. Торжественная тишина зимнего леса, так внезапно и странно нарушенная, восстановилась. Постоял я ещё немного, как ошеломлённый, и

снова побрёл дальше, раздумывая: кто же из них делал отчаянную попытку спастись, оторваться от противника? И почему не стреляли? Может быть, иссяк боезапас?

У одного или у обоих? В сердце вкралось печальное предположение, что уходил всё-таки наш истребитель, а напал немецкий, но, может быть, я ошибся?!..

А вот уже два вечера подряд слушаем мы, тоже впервые, небывалую музыку: по Залучью били наши “Катюши”. Это — совсем новый род оружия, только что у нас изобретённый и появившийся, обладающий, как говорят, громадной разрушительной силой, что-то вроде многоствольного торпедного аппарата, смонтированного на обычных автомашинах. “Катюши” наводят на немцев ужас, но, отстреляв, должны спешно убираться: спастись от германской авиации. Длительным и сложным процессом является пока зарядание “Катюш”. Их далёкое глухое ворчанье, как непрерывная забивка свай, действительно слышалось со стороны Залучья. Неужели это мощное оружие повернёт колесо войны в нашу пользу? И верится, и не верится одновременно...

Рука моя заживает очень медленно. Третий раз делали перевязку. Через неделю сестра обещает снять бинт. Ещё один раз к ней сходить придётся.

Последние дни на фронте

Июль 1942 года, гор. Иваново

Следует описать заключительный этап пребывания на фронте — этого требует последовательность изложения. А восстановить в памяти его не трудно — до мельчайших подробностей всё поразительно ярко...

Первое апреля с утра ознаменовалось неприятным событием. Принесли нам в термосе баланду и одну буханку чёрного хлеба на всех. Термос уже на спине носят, так как Полундру пристрелили. Разлили жидкость по котелкам, хлеб в шалаш занесли для делёжки.. Как это получилось — уму непостижимо, но не успели оглянуться — пропал хлеб, кто-то ловко украл буханку. Все очень возмущались, ругались по-страшному, но разыскать или установить вора не удалось.

Так и остались без хлеба, а ведь ясно каждому, что только свой мог сделать такое. На протяжении дня я старался следить за ребятами, вызывавшими у меня подозрение. Таких было двое: старшина батареи Мамонов и разведчик Касьянов. Больше подозревал Мамонова. По распоряжению Калугина он живёт с нами последние дни. Подозрение моё вскоре укрепились.

Солнце садилось, когда Мамонов поднялся из нашей низины на дорогу, постоял, поглядывая, по-видимому, не следят ли за ним, потом пошёл на передовую.

Я тоже поднялся и пошёл следом. Вот он прыгнул в траншею и побежал по ходам сообщения. Я быстро пошёл за ним, стараясь не быть замеченным. Он уходил в дальние траншеи, к лесу.

“Ясно, — решил я, — где-то здесь закопана им буханка”.

Неожиданно Мамонов остановился, постоял, озираясь, потом так же быстро побежал обратно. Через минуту встретился со мною.

— Где ты был, что делаешь здесь? — спросил я его.

— Ничего не делаю, — отвечал он смущённо и со злостью. Около меня не задержался.

Я дошёл до того места, где стоял Мамонов, стал искать глазами по снегу, но буханки не видел. Решил не говорить никому о своих подозрениях и проследить дальше.

Второго апреля днём я дежурил на ПНП, а, вернувшись после шестнадцати часов в шалаш, узнал от пришедшего с батареи Калугина, что ночью намечается очередное наступление батальона на Князево.

— Это наступление должно быть генеральным, — сказал Калугин. — Наш ПНП для наблюдения и корректировки огня не годится. Надо выбрать себе другое, более подходящее место, с которого бы всё было видно, да поближе к деревне пусть оно будет. Скоро с командного пункта батальона пойдёт к Князеву командирская разведка, возглавит её командир батальона старший лейтенант Ткаченко. Иди и ты с ними. Двух бойцов с автоматами возьми с собою. Себе мой автомат взять можешь.

— Есть, — ответил я.

Взяв с собой Мамонова и Касьянова, отправился к палатке командира батальона.

Вскоре у палатки собрались идущие в разведку. Старший лейтенант Ткаченко не пошёл с нами, возглавил разведку начальник штаба батальона лейтенант Иванов. Шёл в разведку также низенький помначштаба, только что переведённый в стрелковый батальон из нестроевой части бригады. Он, как и Иванов, был в металлической каске (остальные были без касок). Кроме них шли два лейтенанта из дивизиона противотанковых пушек, два лейтенанта из миномётного дивизиона, два минёра-пехотинца и я с Касьяновым и Мамоновым. Все с автоматами.

Тронулись в путь колонной по одному. Дошли до траншей. Поворачиваем по тропке влево, к деревне. Лейтенант Иванов вторично предупреждает, что слева и справа тропинки заминировано, надо идти осторожно, не оступаясь.

Из куста выходит боец батальона. Спрашивает пароль, предупреждает: “Впереди наших нет, немцы”. Пароль “Москва” называет Иванов. Часовой сообщает отзыв. В голове колонны идут минёры, за ними лейтенант Иванов, затем помначштаба. Я иду пятым. В хвосте колонны — Мамонов, он явно трусит.

До ледяного вала, опоясывающего Князево, восемьсот метров. Тропинка вьётся по опушке вдоль редких сосен и молодняка. Идём молча, временами останавливаемся, слушаем. В деревне идут какие-то строительные работы. Слышен шум, звук пилы и падающих брёвен, громкие возгласы и отрывочные фразы на немецком языке.

Всё ближе и ближе. Видны пулемёты, высунувшиеся из амбразур ледяного вала. Мы уже ползём, слились со снежной тропкой в своих грязно-белых масккостюмах.

На пути — занесённая снегом молодая ёлочка. От неё тропинка идёт прямо к валу. Это — последние двести метров.

Под ёлкой лейтенант Иванов и два минёра что-то задержались. Все остановились, ещё плотнее к земле прижались. Только головы чуть шевелятся, поднимаясь над тропкой. Иванов знаками предлагает мне приблизиться. Обхожу осторожно

помначштаба, подползаю к ним.

— Вот, — говорит Иванов, — дальше идти нельзя. Вправо отсюда, — он показывает рукой на густо растущий молодняк, — будет командный пункт батальона. Вам, артиллеристам, рекомендую обосновать наблюдательный пункт под этой ёлкой. Только учти, что впереди вся дорожка простреливается, она под кинжальным огнём из пулемёта. Впрочем, лучшего места для ПНП ты здесь не выберешь.

Я осматриваю местность. Скверное место для ПНП! Живым отсюда во время боя не выйдешь. И много ли, прижавшись к земле, увидишь?..

Лейтенант Иванов продолжает о чём-то шёпотом переговариваться с минёрами. Беззвучно спорят. Через минуту-другую они уже ползут вперёд по дорожке. Минёры опять впереди. Я продолжаю изучать и запоминать местность, осторожно высывая голову из-за ёлки.

Внезапно взрыв сотрясает воздух, вырывается пламя, и первый минёр как-то переворачивается в воздухе и тут же падает со стоном в снег.

Неожиданность пугает. Инстинктивно поворачиваю обратно и вижу, что все уже повернули и уползают. Впереди улепётывает, поднявшись в рост, Мамонов.

Второй взрыв следует за первым. Неужели немцы бьют по дорожке из миномёта? Сзади кто-то громко кричит истошным голосом. Невольно оборачиваюсь. Вижу искаженное злобной гримасой лицо лейтенанта Иванова, властно знаками приказывающего мне остановиться и подползти к нему.

Сообразив, делаю такое же страшное лицо и заставляю остальных остановиться и приблизиться.

— Разве можно оставить здесь своих, раненых?! — говорит лейтенант Иванов. — Бери оружие, тащи его на спине, скорее!

— Что случилось? — спрашиваю я, но без слов понятно. У минёра волочится по снегу нога с оторванной ступнёй и с торчащей открытой костью. Он громко стонет, даже кричит от боли.

— Тише ты, тише, замолчи сейчас же, — властно шипит Иванов, передавая мне раненого и его автомат, а сам ползёт к оставшемуся впереди, почему-то молчащему минеру.

Я, приподнимаясь, тащу раненого. То встаю, согнувшись, то двигаюсь на коленках. Тяжело одному, очень неудобно. Ко мне подползают, наконец, остальные, забирают его у меня.

А я уже увлекся — отдаю его и спешу обратно к Иванову, вытаскивать второго.

Шум у немцев прекратился, они заметили нас, наблюдают.

Вижу, что прямо на нас смотрит голова какого-то немца в очках.

— Бери его, — передаёт мне Иванов раненого, лежащего на спине и закинувшего за голову сцепленные руки с зажатым уже в них поясным ремнём. У него тоже на левой ноге нет валенка, тоже оторвана ступня и торчит кость из штанины.

Мимо меня проползает вперёд помощник начальника штаба с автоматом. Немцы увидели, вероятно, только нас четверых, хотят окружить, живыми взять, не стреляют, переходят через ледяной вал. В голове стучит, мысли проносятся, как птицы, разрезающие воздух.

— На своих подорвались, сукины дети, — говорит Иванов, маскируясь в снегу с автоматом и уже сосредотачивая всё внимание своё на фигурах в тёмно-зелёных куртках. — Скорее, скорее тащи его!..

— Нет, не на своих, это немецкие мины, я знаю, свои ставил дальше, — говорит минёр, когда я тащу его, выбиваясь из сил. Самому понятно, что нужно скорее!

Ко мне подползают лейтенанты-миномётчики. Один забирает оружие. Другой начинает тащить раненого минёра вместе со мною. Неудобно, тяжело, вспотел я весь, но заметно легче стало.

Теперь сзади нас из снега высовываются две головы в стальных зеленоватых касках. Это прикрывают наш отход лейтенант Иванов с помначштаба.

Короткие очереди из автомата режут слух, и я оглядываюсь. Лейтенант Иванов прижимает немцев к земле этими очередями, заставляет их в снег ложиться.

И снова на двадцать-тридцать шагов отползли две головы в касках, снова сидят на одном колене, снова очереди из автоматов.

Немцы описывают большую дугу, охватывая нас, — должно быть, минное поле обходят.

— Дайте закурить, братцы, смерть как курить хочется, — говорит минёр.

Он много терпеливее того, первого, чьи вопли ещё доносятся до нас, хотя утащили его уже далеко. Он даже не стонет, лежит спокойно, только кровавый след на снегу остаётся.

— Сейчас не до куренья, — говорим ему.

Солнце садится за вершину леса. Кажется, немцы отказались от попытки окружить и захватить нас. Просвистели прощальные пули. Оглядываясь назад, каждый раз вижу две сидящие на коленях фигуры в касках с автоматами. Чем дальше ползём, тем ближе к нашим, к передовому посту батальона. На сердце становится спокойнее. Вот и лошадь с волокушей, выведенная уже из зарослей, где стоят противотанковые пушки.

— Сегодня четверг, через два дня пасха, — задумчиво

вспоминает почему-то минёр и снова просит курить.

Кто-то свёртывает ему цыгарку.

Трогаются в путь волокуши с ранеными. Быстро идут рядом с ними ездовые.

Лейтенант Иванов из шалаша близ пушки докладывает о случившемся по телефону командиру батальона. Тот приказывает повторить разведку. Иванов доказывает бессмысленность её в этих условиях, спорит. Мы ждём окончания разговора, утаптывая снег и вполголоса рассуждая. Нервное напряжение снято, остались физическое изнеможение и слабая дрожь во всём теле, которых не замечал раньше.

Стемнело, когда я, уставший и физически, и морально, заполз в шалаш. Там у костра грелись капитан Фокин и комбатр Калугин. Я рассказал им о результатах разведки, о подорвавшихся на минах минёрах, о том, что нет там хорошего места для наблюдений. Рассказал, как подползли мы к оборонительному рубежу немцев, о ёлке, что расположена от него метрах за двести.

— Вот туда и тяни связь, — сказал капитан, — оттуда и будешь управлять артогнём ночью.

— На том месте он сразу выведет нас из строя, да и нет у меня проводов, чтобы протянуть туда связь. Откуда взять их прикажете? — возразил я капитану.

— Совсем нет проводов? — спросил капитан.

— Есть метров шестнадцать красного трофейного провода, — откровенно ответил я, — но что сделаешь с таким обрывком? Метров семьсот-восемьсот надо, по крайней мере.

— Ну вот что, — сказал капитан, — я сейчас иду на батареи и пришлю тебе на этой же лошади четыре катушки. Я знаю, где взять их.

— Это другое дело, — заметил я. — Надо, чтобы провод был доставлен сюда обязательно. Иначе ничего с новым НП не получится. Всё будет по-старому. На который час назначена атака?

— Батальон двинется в наступление после двадцати четырёх часов. Атака намечается в три-четыре часа ночи, — отвечал капитан.

Вскоре он завалился в свои сани на заботливо уложенные там одеяла, ездовый зацокал, и полозья заскрипели по насту.

Да, я действительно “умаялся”.

Облокотившись на локоть, я растянулся у костра. Возбуждение улеглось, и я крепко заснул.

...Проснулся я от ударов в бок чьей-то ногою. Открыв глаза, увидел над собою капитана Фокина.

— Спите, сволочи, лодыри, мать вашу... — говорил капитан, — батальон наступает, люди гибнут, а они дрыхнут здесь. Марш сейчас же на передовую! Почему до сих пор не оборудовал новый наблюдательный пункт? Приказов не выполняешь?!.. Расстреливать вас, ... надо.

— Вы привезли катушки с проводом? — спокойно спросил я, приподнимаясь.

— Никакого тебе провода нет и не будет. Марш на передовую! Чтобы сейчас же связь была! Знать ничего не хочу, — зарычал на меня капитан, продолжая браниться.

Колесов сидел, сжавшись в комочек у телефонного аппарата с прижатой к уху трубкой. Я выполз из шалаша следом за капитаном. Он ушёл, растворившись в темноте, а я заглянул в соседний шалаш, где размещались Новиков, Мамонов и другие. В шалаше оказался один Касьянов. Остальные ушли с Калугиным.

Над лесом в сторону Князева изредка проносились с гулом снаряды: батарея, которой управлял Калугин, вела огонь по деревне.

— Касьянов! — сказал я. — Забирай остатки трофейного провода, аппарат, штык для заземления — пойдёшь со мной на передовую.

Через минуту-другую мы уже вышли с Касьяновым на дорогу. Она была пустынна, только одиноко маячила в темноте чья-то фигура.

Пулемётные очереди, взрывы мин и залпы миномётов доносились со стороны Князева. Над лесом стояло зарево, но здесь было темным-темно.

— Вы куда идёте, на передовую? — подошёл к нам стоявший на дороге. Он оказался незнакомым мне лейтенантом.

— Да, на передовую, — сказал я, освещая часы и разглядывая стрелки на циферблате. Скоро три часа.

Идём по дороге, и в непроглядной тьме вспышки со стороны миномётного дивизиона, ведущего огонь по Князеву, выделяются особенно ярко.

Касьянов с телефонным аппаратом и винтовкой плетётся где-то сзади. Лейтенант семенит рядом со мной, спрашивает — на самую ли передовую я иду и что собираюсь делать.

Куда я иду? В первую очередь, конечно, на командный пункт батальона, надо связаться с комбатом. А вот как быть без провода? Впрочем, у меня созрело смелое и неизбежное решение: думаю использовать имеющийся у меня кусок трофейного провода для подсоединения нашего аппарата к линии батальонной связи. Знаю, что включаться в батальонную связь запрещается, однако другого выхода у меня нет. Буду

использовать перерывы с разговорах, буду включаться в линию, когда она будет не занята.

Так будет выполнен мною приказ. Разве виноват я в том, что меня обманул командир артдивизиона?

— А вы кто и откуда будете? — спрашиваю я лейтенанта, когда мы сворачиваем влево мимо стреляющих сорокапятимиллиметровых пушек, сворачиваем на том месте, где так недавно спрашивал пароль у лейтенанта Иванова часовой передового поста.

Теперь пехотинцев здесь нет. Они все впереди, на опушке, под самой деревней. Прохожу мимо своего приятеля — знакомого артиллерийского офицера. Сейчас он командует, стреляет, но и в темноте чувствую его приветливую, обращённую ко мне улыбку.

— Пошёл на передовую? — успевает сказать он мне.

— Да, — отвечаю. От его обращения ко мне на душе становится спокойнее, теплее.

Однако кто-то же идёт рядом, нарушая мою серьёзную сосредоточенность своими назойливыми и, как мне кажется, лишними сейчас расспросами. Спрашиваю вторично.

— Я из особого отдела, — отвечает лейтенант.

Идём дальше молча, по той тропке, по которой несколько часов тому назад тянули минёров, подорвавшихся на минах. Перешли невидимую черту, за которой рвутся то там, то здесь немецкие мины. Немцы обстреливают лес из миномётов. Стараемся быстрее пробежать по тропинке, она ожила теперь. На ней работают телефонисты, соединяя в обрывах линию связи, встречаются раненые — и бредущие, и ползущие... Идём вперёд не задерживаясь. Вот знакомая ёлка! Лейтенант больше не сопровождает нас, он куда-то исчез незаметно. Сворачиваем вправо, ещё немного — и мы плюхаемся на животы в снег. Здесь — командный пункт батальона, ведущего наступление. Повторю снова: место, с которого ничего не видно. Впрочем, сейчас здесь далеко не безопасно. Стрельба ведётся немцами в много стволов, разрывы кругом оглушают.

За невысоким снежным валом, образующим полукруг, прикрытый от немцев, сидит старший лейтенант Ткаченко, правее — лейтенант Иванов и другие командиры. Шныряют, как тени, полные энергии и работы телефонисты и связные батальона. Линия телефонной связи всё время нарушается, рвётся, но восстанавливают её быстро, перерывы кажутся мгновенными.

— Артиллеристы пришли! Добро! — говорит лейтенант Иванов. Ткаченко смотрит на нас хмуро, исподлобья. Молчит. Я говорю, что собираюсь занять позицию несколько впереди от них и левее, а сам думаю: на столько, на сколько хватит провода,

чтобы поставить шлейф к линии батальонной связи.

Отползаем с Касьяновым метров на десять-пятнадцать. Отсюда хорошо виден командный пункт и лежащие на нём офицеры. Что впереди — пока разобрать трудно. Над головой то и дело жужжат пути от пулемётных очередей. Включились в связь. Трубка у моего уха. И множество голосов, перебивая друг друга, кричат в трубку:

— ...Люба, Люба, я Утка, я Утка...

— ...Почему молчат пулемёты? Открывай огонь, приказываю вам, так вашу...

— ...Товарищ командир, обстановка такова...

Внезапно все голоса умолкли. Обрыв связи. Жду. Всматриваюсь, стараясь по вспышкам в амбразурах на ледяном валу немцев как-то ориентироваться.

Связь восстановлена. Снова “Люба, Люба...”. Кто-то “Ленинград” вызывает...

— Калуга, Калуга, я Камень, я Камень, — говорю я в трубку, воспользовавшись наступившим молчанием.

— Я Калуга, я Калуга, — доносится ответ. Узнаю голос лейтенанта Колбасова — нашего начштаба.

— Товарищ лейтенант, — кричу я обрадованно в трубку. — Пусть батарея ведёт огонь по нашему ориентиру номер один. Надо заставить замолчать их пулемёты.

Опять обрыв связи. Снова ожидание. Нервы напряжены, как струны. Огненные конуса разрывов окружают, становятся ближе. Слух режут стоны и крики.

В трубке появились голоса. Нажимаю тангенту. На другом конце провода — Колбасов. Он кричит:

— Я не знаю ваших ориентиров. Управляй огнём сам. Свяжись с капитаном, он разрешит... Обрыв связи...

На командном пункте батальона ругань и мат. Поворачиваю голову: поджав под себя ноги, сидит командир пулемётного взвода Арсентьев — бывший Витязь. Перед ним взбешённый Ткаченко.

— Почему молчат пулеметы, почему не открываешь огонь, не выполняешь приказ? — рычит он.

— Не открою огонь, не время ещё, не дам пулемётчиков на бессмысленное уничтожение, — упрямо и зло повторяет Арсентьев.

Меня вызывает по телефону командир артдивизии Фокин.

— Слушай, — говорит он мне, — здесь полковник, он разрешает тебе непосредственно связаться с батареей. Открывай огонь, командуй. Далеко ли от тебя до немецких пулемётов?

— Сто метров, — кричу я в трубку, стискивая зубы от дрожи

и тут же соображая, что наврал, должно быть. Может быть, все двести будут?

— С ума сошёл, — говорит капитан, — но подожди, я поговорю с полковником...

Связь оборвана.

Верчу головой то вправо, то влево, стараясь понять, есть ли закономерность шахматной доски в обстреле нас миномётами. Взрывы возникают на земле, то чёрные, то с оранжевым пламенем.

Мысли бегут быстро. Неужели мы лежим на островке, куда так и не залетит мина? Вряд ли...

Говорят, “свою” всегда заранее почувствуешь, услышишь, гудит, приближаясь, по-особенному...

...Сегодня ночь под пятницу. Правильно ведь заметил вчера минёр, что послезавтра пасха...

...Выйдем ли живые отсюда?

Лежим, плотно зарывшись в снег, прижавшись от жужжащих то справа, то слева пуль. Касьянов в снегу по правую руку от меня, на два-три шага сзади.

Лежу на бинокле. Прикрыл им место, где бьётся сердце. Может быть, предохранит? Взрывы мин всё ближе и ближе. Приближаются, как ливневая полоса в поле. На командном пункте, кажется, забеспокоились.

...Вызывает капитан Фокин.

— Полковник разрешает тебе управлять огнём, соединяю с батареей, — говорит он, — уточни мне обстановку.

Бегло объясняю. Говорю, что отсюда видно плохо, мы привязаны к аппарату. Но нас двое. Разведчик Касьянов может вперёд проползти немного...

Касьянов слышит и ругает меня.

Отвечает батарея. Узнаю голос Умнова.

— ...Ориентир номер один. Угломер... прицел... Первому две гранаты беглый огонь...

Снова ухнули немецие миномёты.

— Это наша, — говорю Касьянову.

— Наша, — повторяет он.

Гул летящей мины нарастает, приближается.

“Прямое попадание... конец”, — проносится в голове. Инстинктивно прикрываю лицо рукой, отворачиваюсь.

Столб пламени взметнулся примерно в пяти метрах сзади, между нами и командным пунктом. Одновременно сильный удар, как бы дубиной или оглоблей, пришёлся по правому бедру.

— ...А-а-а, — как-то дико, по-звериному закричал я, поднимаясь и бросаясь вперёд, сознавая, что остальные мины

пучка, уже гудящие в воздухе, будут сию же минуту рваться здесь, на этом месте.

Утопая в снегу, бегу вперёд... что-то обжигает руку — как будто бы дотронулся ею до раскалённой сковородки.

— ...А-а-а, — раздаются крики на командном пункте.

На мгновение вижу побелевшее и искажённое гримасой лицо лейтенанта Иванова, схватившегося за живот и со стоном раскачивающегося, сидя на коленках.

Вижу повалившегося в снег, охающего лейтенанта Арсентьева.

Касьянов сидит, странно раскрыв рот и выпучив глаза, подбирает вывалившиеся из распоротого живота кишки со снегом.

Одна мина... Летит вторая, третья...

Пробежав вперёд в каком-то иступлении шагов десять-пятнадцать, проваливаюсь в глубокий снег. Разрывы мин, накрывшие командный пункт и место, где я лежал, переместились вправо. Громко охая от боли в ноге, я стал выбираться назад на дорожку.

Куда назад пошёл! Стреляй в него! — донёсся до меня скрежет чьих-то зубов и щёлканье затвора винтовки.

— Да что ты, это раненый, — заметил кто-то.

Я заковылял, волоча ногу, по снежной тропке.

— Не помочь ли вам выбраться, товарищ лейтенант? — очутился рядом со мной какой-то боец.

— Не надо, дойду, — сказал я, соображая, что сейчас всякому хочется, помогая мне, самому выбраться отсюда.

Недолго удалось мне двигаться самостоятельно. Ещё несколько шагов — и я со стоном опустился в снег, почувствовав в ноге нестерпимую боль. Одновременно с удивлением заметил, что непроизвольно ловлю снег губами — сильно захотелось пить.

“Напрасно отказался от помощи — не выбраться мне самому отсюда”, — подумал я, и почему-то какое-то непонятное безразличие, но нет — не безучастие ко всему происходящему — охватило вдруг меня.

Если несколько секунд тому назад я передвигался в ужасе от перспективы остаться здесь, ползающим в этой зоне огня и смерти, как “те” под Хохелями, запечатлевшиеся на сетке артиллерийского бинокля, то теперь вдруг нахлынуло на меня какое-то успокоение, желание лежать в снегу, спать и пить, пить и пить.

Вероятно, прошло очень мало времени, какая-нибудь минута, как надо мною склонилось двое незнакомых бойцов.

— Один-то дотащишь? — обратился боец к другому.

— Куда ранило-то? — спросил меня маленького роста боец в краснофлотской шинели.

И так же, как несколько часов тому назад плыли на спине по снежной тропке раненые минёры, поплыл и я, закинув за голову руки, вцепившиеся в широкий морской ремень, снятый с себя краснофлотцем.

— Где левая варежка-то? — спросил краснофлотец, заметив, что нет её у меня.

— Потерял, видно, — ответил я, с удивлением обнаруживая, что пальцы на левой руке сведены, скрючились и не двигаются. Отморозил руку-то я, должно быть! — Дай мне варежку, а то без руки останусь, — попросил я краснофлотца.

— На! Дай-ка я её натяну на тебя, — сказал тот, торопливо надевая на мою безжизненную кисть со сведёнными пальцами снятую с себя варежку. На нём, заметил я, было две пары варежек.

Ташил меня низенький, но сильный краснофлотец чуть не бегом, уходя от миномётного огня и жужжащих пуль.

Вот уже ёлки с запрятанными в их густоту противотанковыми пушками.

— Ишь ты, какая беда, куда ранило-то? — встречает лейтенант-артиллерист, мой приятель, недавно провожавший меня на передовую.

— Оставь его, теперь он наш, теперь уж мы ему поможем, — отпускает он вытащившего меня красноармейца.

— Нога, нога, — отвечаю я, — пить, дай мне пить.

— Ишь ты, какая беда, — скорбно качает лейтенант головой, подавая к моим сухим губам снег на своей рукавице. — Однако подожди!

Он широко шагает к телефону и слышу, как сообщает на командный пункт батальона о моём ранении.

Вернувшись ко мне снова, даёт мне есть снег, спрашивает, где у меня бинт или индивидуальный пакет, чтобы перевязать руку.

— Какую руку? Отморозил я её, — говорю я, скрипя зубами от нервной дрожи и боли в ноге. — Жарко мне!

— Да нет, рука-то вон в крови вся, и бинт на ней весь промок, — замечает лейтенант, снимая варежку с парализованных пальцев и сбившегося на ладонь бинта.

Тут только понял я, что означало ощущение, подобное прикосновению к раскаленной плите или сковородке, которое запомнилось, но тогда же сгоряча забылось. Значит, и левая рука моя ранена. Но в ноге боль нестерпима.

— Где же бинт? — снова спрашивает лейтенант. — Надо перевязать тебя.

— Не надо, бинт далеко, под шинелью, — говорю я, — дай

лучше снова снега.

— Как хочешь, — соглашается он со мною и подаёт снег.

По дороге быстро приближается к нам лошадь в постромках, с шлюпкой-волокушей. Узнаю ездового — это Мамонов. Значит, за мною прислали!

Небольшие сдерживаемые стоны — и я в шлюпке.

— Знаешь, что, — говорит мне лейтенант, — дай мне бинокль, тебе он теперь не нужен. А я верну его после командирской вашей батареи.

— Только обязательно верни, — предупреждаю я. — Да вот варежки чужие на мне, у краснофлотца взял.

— Он убежал уже, оставь их себе, — говорит лейтенант.

Мамонов торопит, дергает лошадь.

— До свиданья, — прощается лейтенант, — не огорчайся, ещё встретимся, вернёшься!

Его суровое, простое, с крупными чертами лицо приближается к моему, и он поспешно целует меня.

— Поправляйся, будем ждать тебя, — машет рукой, возвращаясь к пушке.

Мамонов спешит, с опаской поглядывая на разрывы мин, хорошо видные, но не достающие до дороги.

Вот уже справа большая тёмно-зелёная палатка командира батальона. Сейчас там полковник — командир бригады, капитан Фокин и много, должно быть, других офицеров.

— Стой, — говорю я Мамонову, — беги в палатку, вызови капитана Фокина, я хочу объяснить ему...

Лошадь останавливается. Из палатки высовывается красное, возбуждённое лицо капитана. То ли пьян он? То ли от жары разморил?

— Товарищ капитан, — кричу я, приподнимаясь на локтях, — выйдите ко мне, я хочу сказать...

— Вези его, вези, так твою так, — кричит капитан на Мамонова, испуганно взглядывая на меня, и скрывается в палатке.

Мамонов дёргает вожжи.

А меня прорвало. Плачу, как ребёнок, и не могу остановить слёз.

...Испугался! Меня испугался!... Не подумал я этого! А ведь он яснее всего видел наган, торчащий из-за борта моей шинели.

Рассветало, когда боец-краснофлотец вытаскивал меня с передовой. А теперь, когда мы добрались до палатки командира батальона, стало совсем светло. Там, где дорога сворачивала к батарее вправо, расположился пункт первой медицинской помощи, но без палатки. Полотнище с красным крестом было

прикреплено к ветке. На снегу в ряд по одну сторону не наезженной ещё дороги лежали раненые, ожидающие очереди на перевязку.

Выстрелы и разрывы были хорошо слышны, но пули и мины сюда не долетали.

— Дорогу! Лейтенанта везу, — оповещал Мамонов, разъезжаясь с санями, вывозящими с ПМП раненых.

— И здесь им привилегия! — провожали нас отдельные недружелюбные возгласы.

В очереди раненых было несколько десятков.

Мамонов упорно пробивался вперёд, поэтому я вскоре оказался в распоряжении двух знакомых молоденьких санитарок из медсанбата, совсем ещё девчонок. Медсестры не было.

На снегу, на какой-то подстилке, лежали бинты, салфетки, вата и блестящие хирургические принадлежности.

Работали девушки сосредоточенно, серьёзно, быстро, точно. Одна была старшей — может быть, она уже медсестра, военфельдшер?

— Встать можете? — спросила она.

— На одной ноге, должно быть, смогу стоять, — ответил я.

— Давай помогай — поддержи его, — обратилась она к Мамонову, ловко снимая ножницами лохмотья моего масккостюма. — Шинель-то снять надо!

Это удалось. Стащили с меня даже китель, сняли кожаное морское снаряжение с кобурой для нагана, полевую сумку, а вот дальше — левый рукав серого шерстяного свитера и рукава двух нижних рубашек пришлось до локтя разрезать.

— Ну, тут вам повезло! — говорили девушки, перевязывая левое предплечье. — У вас пулевое ранение навывлет. Из пулемёта, должно быть.

Спустили брюки. Мамонов, с трудом поддерживая меня, сумел полюбопытствовать — взглянуть сзади, вниз, на ногу. Увидев, заохал.

Старшая фельдшерица тут же крепко обложила его и пообещала двинуть в морду, если ещё смотреть полезет.

— Ничего, ничего, тут посерьёзнее, конечно, давай салфетки, — приказала она младшей.

Вскоре я уже лежал в поданных розвальнях. Лежал на спине, на подостланной соломе. И нога, и рука были основательно забинтованы. Шинель была накинута на меня и прибинтована, надеть не смогли — не сошлась. Незнакомый человек — красноармеец в солдатской шинели — хлопотал у лошади.

Мамонов простился и ушёл, прихватив с собой мой наган и патроны. Полевая сумка моя оказалась под головой. Падал

редкий снежок, когда мы двинулись в путь, а он предстоял далёкий — до Холмов, до нашего медсанбата, километров шестьдесят лесом. Впереди пошло ещё четверо саней с ранеными, там по двое, по трое раненых на каждые сани уложено. Мы — замыкающие.

Ужасная дорога! Она вся в корнях от вековых сосен. Сани то забираются по корням вверх, с тем чтобы через секунду сорваться вниз, то неожиданно упираются, с силой ударяясь в лежащий поперек дороги скрытый под снегом корень. Тогда лошадь останавливается и, упираясь, преодолевает препятствие. Иногда ездовый помогает ей, немного оттаскивая или приподнимая сани.

Мне от этого не легче. Вверх — вниз, вниз — вверх! С каждым взлётом или падением я кричу от боли.

— Ну, кричит — значит, выживет, — говорит ездовый. Временами он упрасивает меня потерпеть, помолчать хоть немного. “Нельзя кричать, немцы услышать могут”, — увещевает он меня.

— Ты что, все время ездовым-то? — спрашиваю его.

— Нет, стрелок я, рядовой из батальона, да вот ранило — послали отдыхать, сделали ездовым.

— А куда ранило-то?

— В шею, — отвечает он.

Шея у него действительно забинтована.

Подъезжаем к батарее. Она ведёт огонь, и дорогу преграждает нам часовой с винтовкой. Узнав меня, он молча качает головой, а я приказываю ездовому остановиться, позвать помкомбата Трофименко.

Звать приходится недолго. Лейтенант Трофименко, комиссар батареи — молоденький рядовой краснофлотец, назначенный вместо Зуякова, но ещё не переодетый в командирскую форму, — и ребята моего взвода уже окружили меня.

Быков заботливо укладывает в моих ногах вещевого мешок и чемоданчик, заблаговременно извлеченные ими из кузова трактора. Трофименко посылает кого-то за одеялами. Приносят два. В них укутывают мои ноги, чтобы не отморозил.

Меня снова прорвало. Слезы льются прямо-таки рекой.

— Неужели так больно? — спрашивает комиссар.

— Не то, совсем не то, — говорю я. — Не могу я уходить от вас, хочу до конца быть с вами...

— Не расстраивайся, отдохнёшь — вернёшься. Мы будем ждать твоего возвращения. Не расстраивайся. Это почётно, почётно, — повторяет Трофименко. — Что ещё сделать тебе? — спрашивает он.

— Нет ли поесть чего? Хлебца бы кусочек! — говорю я. Много

раз потом горько раскаивался я — зачем произнёс эту фразу! Ведь и есть в тот момент не так сильно уже хотелось, чувство голода притупилось. Скорее от нервного расстройства и потрясения сказал это, также и слёзы — не от боли лились они так обильно.

Все переглянулись.

— Даже одного сухарика не найти сейчас на батарее, ты прости нас, — печально и виновато сказал комиссар, — вот газета свежая есть, могу дать.

— Ну, ничего, спасибо и на том, сам знаю ведь, — говорил я, прощаясь со всеми. — А кто же управляет огнём батареи? Идите, вы там нужнее.

— Огонь ведёт лейтенант Осипов. Поезжай, да поправляйся скорее, — отвечал Трофименко.

Расстались тепло и грустно. Дальше мы ехали лесной дорогой одни, так как остальной обоз с ранеными ушёл вперёд. Опять эта ужасная просека в корнях и ухабах!

Я то стонал, то забывался. Не заметил, как проскочили перекрёсток с трупами немецких офицеров. Всё так ли лежат они там, занесённые снегом?

Подъезжаем к шалашам и палаткам. Запах костров, хвои — люди, лошади, сани и волокуши. Это — штаб бригады и обозы.

Нас останавливает девушка — то ли медсестра, то ли санитарка... Говорит, что сейчас поесть принесёт.

Вскоре возвращается с котелком и белой фаянсовой кружкой.

— Выпей, — говорит она мне, помогая немного приподняться и поднося к губам кружку. В ней граммов сто пятьдесят водки.

Пить хочется. Не думал, что водка. Выпил залпом.

— Давай поешь, — и она подставляет мне котелок с гречневой кашей. Каши там с четверть котелка было.

— Товарищ командир, оставьте мне немного, — просит ездový.

— Не тебе принесла, раненому, — говорит девушка, но тут же отворачивается и отходит в сторону.

Ездový быстро доедает кашу.

В пути, где-то в лесу под Хмелями, лежит в снегу, рядом с дорогой, труп красноармейца.

Мой ездový качает головой, замечает:

— Не довели его, значит, умер дорогой. Он впереди нас ехал. Облегчили лошадь.

Дороге, кажется, конца не будет. Но вот последний поворот, и вскоре мы останавливаемся при выезде из леса на большую открытую поляну. Вдали на пригорке — Холмы.

Давно ли пересекали мы эту поляну со своими тягачами и пушками? А кажется — будто год прошёл.

Ездовый поглядывает на небо. Оно серо-голубое. Ласково светит апрельское солнце. Только тут замечаю, что весна, настоящая весна уже наступила. В лесу её не было видно.

В лесу — снега, зима. А здесь — дорога покрыта уже весенним оттаявшим конским навозом, оттепель, санные колеи сырые, местами покрыты ледком и талой водой. Глубоки следы конских копыт на дороге.

Но не это видит ездовый, не о весне думает.

— Самолеты немецкие тут то и дело летают, обстреливают нашего брата. Успеет проскочить-то? — говорит ездовый.

Не видно в небе самолетов.

— Давай поезжай, — говорю ему.

Выехали мы на середину поляны — гул слышен, из-за леса вылетел немецкий истребитель.

— Заметил нас, круг делает, пропали теперь, — заметался ездовый. — Товарищ командир, я в снег побегу, укроюсь, — говорит он.

— Беги, беги, — приказываю я, — зачем пропадать обоим.

Лошадь стоит смирно. Лежу на спине, ясно вижу несущийся на меня самолёт, турель пулемёта и летчика, вцепившегося в пулемёт. Он тоже видит мою забинтованную торчащую руку, белые бинты на шинели, видит беспомощность раненого!

Длинная пулемётная очередь пришлась рядом с санями, строчка от пуль обрызгала меня грязью. Лошадь испугалась и рванула. Я приподнялся. Самолёт выходил из пике, летчик, обернувшись, дал очередь назад, но пули легли далеко впереди нас.

— Промахнулся, — крикнул я ездовому, который уже выбирался из глубокого снега. — Поехали!..

Было два часа дня, когда мы остановились у какой-то избы в Холмах. Путешествие в санях кончилось.

Молодые санитарки, или дружинницы, как их здесь называли, вытащили меня из саней и внесли в избу. В горнице было чисто, белые простыни делили её на две части. Меня положили на пол, раздели до белья, пока я отвечал на вопросы регистратора, сидящего за перегородкой: фамилия, звание, должность...

Знакомый мне по Хамовническим казармам пожилой хирург в очках, ещё больше похудевший и утомлённый, тоже расспрашивал меня, как и при каких обстоятельствах ранило.

Начал было я отвечать, да опять нахлынули с воспоминаниями слёзы, и он отступился от меня, только утвердительно повторяя:

— Да, да, всё это так ужасно!

Разбинтовали мне руку. Он осмотрел её, бросил через плечо за перегородку — “Медианус”, приказал забинтовать снова.

Для обработки раны на ноге меня подняли и стали держать сильные руки дружинниц.

Обработка продолжалась долго, а я, сам себя не узнавая, всё время беззвучно плакал горячими слезами, положив голову на плечо дружинницы, утиравшей мне глаза своим носовым платком и вместе с другими утешавшей меня.

Пытался я объяснить, что совсем не хочу плакать, что получается это непроизвольно, что боли я почти не чувствую, не думаю о ней. Девушки, по-видимому, это понимали, обращались со мной умело, заботливо и нежно, не раз пить давали.

Может быть, из всего происходящего это было самым ценным?

— Ну, тут без рентгена ничего не скажешь: слепое осколочное ранение в область правого тазобедренного сустава, пошевели-ка пальцами ноги, — говорил хирург. — Ну, ещё попробуй!

Пальцы чуть шевелились, а малейшее движение ногой, хоть на сантиметр в сторону, вызывало очень сильную боль.

— Теперь поедешь в тыл, Москву увидишь, передавай ей привет, о нас вспоминай, как мы здесь живём и мучаемся. Да, эвакуация, — ответил он на вопрос регистратора и, взяв исписанный квадратик бумаги о ранении, засунул его в карман моего кителя.

Вскоре снова оказался я в шинели, снова повязаны уши у шапки. Дружинницы перенесли меня на носилках в другую избу, где на полу лежало много раненых. Так и оставили меня на носилках вместе с полевой сумкой, вещевым мешком и чемоданчиком.

Вскоре я забылся. Сквозь сон слышал, как то и дело входили и выходили какие-то люди, выносили и снова вносили в избу раненых. Кто-то громко говорил, кто-то ругался, дети и хозяйка вполголоса переговаривались, сбившись за печкой, за временами приоткрывавшейся пестрой ситцевой занавеской.

Пробудился оттого, что кто-то осторожно, но настойчиво трогал меня за плечо. Открыл глаза, и они встретились с устремлёнными на меня большими серыми глазами склонившейся ко мне девушки в красноармейской шинели.

— Давайте молока попьём, парное, тёплое, — сказала она. — Да и хлеб мягкий есть.

Помогла мне приподняться, поднесла кружку к губам, дала выпить. От хлеба я отказался. Был в жару, желание есть отсутствовало.

— Очень плохо себя чувствуете? — спросила она меня. —

Хлеб-то я вам в вещевой мешок положу, пригодится ещё.

Взяла вещевой мешок, перенесла его к изголовью: “Давайте развяжем его”, — предложила она. Тут только я увидел, что правой руки у неё совсем не было.

— Где же это руку-то? — спросил я.

— Здесь, в Холмах, при воздушном налёте оторвало. Медсестрой была. Здесь ампутировали, здесь и осталась я. Хлеб-то дорогой на молоко выменяете, — сказала она, завязывая со мной вещевой мешок.

Я откинулся, продолжая следить за ней глазами. Не расспрашивал ни о чём больше, не до того было. Опять забылся.

На улице было уже тепло, когда вошедшие в избу красноармейцы подошли ко мне и, решительно взявшись за носилки, вынесли из избы.

Тут же стояла полуторка с открытым бортом. Подняли меня на уровень машины, и вот я, как был в сапогах и шинели, запятан в большой спальный мешок.

Командир транспортного взвода Велижевский хлопчет, командует погрузкой.

В машине уже лежат двое, в таких же спальных мешках. Я — крайний слева.

— Пить, дайте пить, пить хочу, — говорю я Велижевскому.

— Сейчас, сейчас, — отвечает он и вскоре подаёт большую белую кружку. Она наполнена доверху.

— Водка? — спрашиваю я.

— Ну конечно же, воды у нас нет, — смеётся Велижевский.

— И нам давай, — говорит мой сосед. Узнаю его сразу. Это лейтенант Иванов Владимир, начальник штаба первого пехотного батальона. Рядом с ним — Витязь, лейтенант Арсентьев, или Мишка, Михаил, как сейчас мы его называем.

Они тоже узнают меня.

— Одна мина нас породнила, — говорит Иванов.

Выпивают по кружке водки.

В ногах, кроме наших вещевых мешков, появляется большой бумажный пакет с сухарями. Его определил туда шофёр, о чем-то шепчущийся с Велижевским.

Это не ускользает от нашего внимания.

Давай сюда сухари, — командует Арсентьев, густо добавляя ругательства.

— Не для вас, не для вас, — говорит Велижевский, — нельзя так.

— Можно! — кричим мы, начиная расходиться.

Получаем по два сухаря, грызём и успокаиваемся.

— Слушай, — говорю я Велижевскому, — остался на

передовой у меня разведчик Смирнов. Орденскую книжку свою отдал он мне, и вот не довелось мне вернуть её. Я передам ее тебе, — верни ему обязательно.

— Давай, — соглашается Велижевский и берёт протянутую мною орденскую книжку Смирнова.

— Куда ранило? — спрашиваю я Иванова. Он то стонет, то начинает напевать что-то.

— В живот. По стенке желудка прошло, навывлет пробило, — отвечает Иванов.

— А тебя?

Арсентьев молчит. Только приглушенные ругательства всё время срываются с его губ.

— В ногу ему осколок попал, щиколотку раздробило, — отвечает за Арсентьева Иванов.

— Поезжай! Прощайте, — говорит Велижевский.

Машина берёт с места, выруливает на подмерзающую к ночи апрельскую дорогу.

Вскрикиваем, стонем, но вскоре Иванов затягивает, и мы недружно поём:

*“Комиссар, нас с тобой
Побратал первый бой,
Нам повсюду победа близка...”*

Прощай, фронт! Над нами звёзды. Кругом ночной мрак, а впереди, как всегда, дорога в неизвестное. Кто знает, что принесет она, что готовит нам завтрашний день, даже следующий час? Всю жизнь манит нас неведомая даль, порыв к ней движет нами, даёт силу жить.

В этом мудрость и смысл жизни нашей, устремлённой всегда в завтра, в будущее.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Глубокой осенью 1942 года, хромая и тяжело опираясь на палку, я пришёл в простреленной морской шинели за направлением в морской отдел горвоенкомата. За столом сидел тот же знакомый мне по Владивостоку, который оформлял в декабре сорок первого мой призыв в действующую армию. Тогда он был капитаном, теперь стал майором. Отвечая на вопрос, помнит ли стоящего перед ним младшего лейтенанта, он сказал:

— Да, припоминаю, вы пошли на фронт с 154-й морской бригадой. Неудачно воевала она, большие несла потери. Многие из командного состава стрелялись. Бригаду теперь расформировали.

— Кто стрелялся? — спросил я.

— Лейтенант Соколов застрелился, лейтенант Певзнер застрелился, были и другие, что покончили с собой, не вынесли. Всех не запомнишь.

Этим сведения и воспоминания о бригаде были тогда исчерпаны. А ровно через год довелось мне вновь посетить горвоенкомат.

Старый знакомый сидел за тем же столом, был уже не майором, а подполковником.

Москва, 1963 год

notes

Примечания

Всеобуч — Всеобщее военное обязательное обучение

ТОФ — Тихоокеанский флот

На тогдашних картах обозначалось как Избитово. После войны переименовано в Мироново (прим.верстальщика).

Никак не подумать мне тогда, что через три месяца встречусь я с этим краснофлотцем в иной обстановке — в госпитале города Иваново, в здании “Дворца Труда”, что узнает он меня, вспомнит этот лес и уж как обрадуется нашей встрече!

ПАС — Правила артиллерийской стрельбы на море

На тогдашних картах обозначалось как Хахили (прим.верстальщика).